

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ОЛЬГА ЛАРИОНОВА

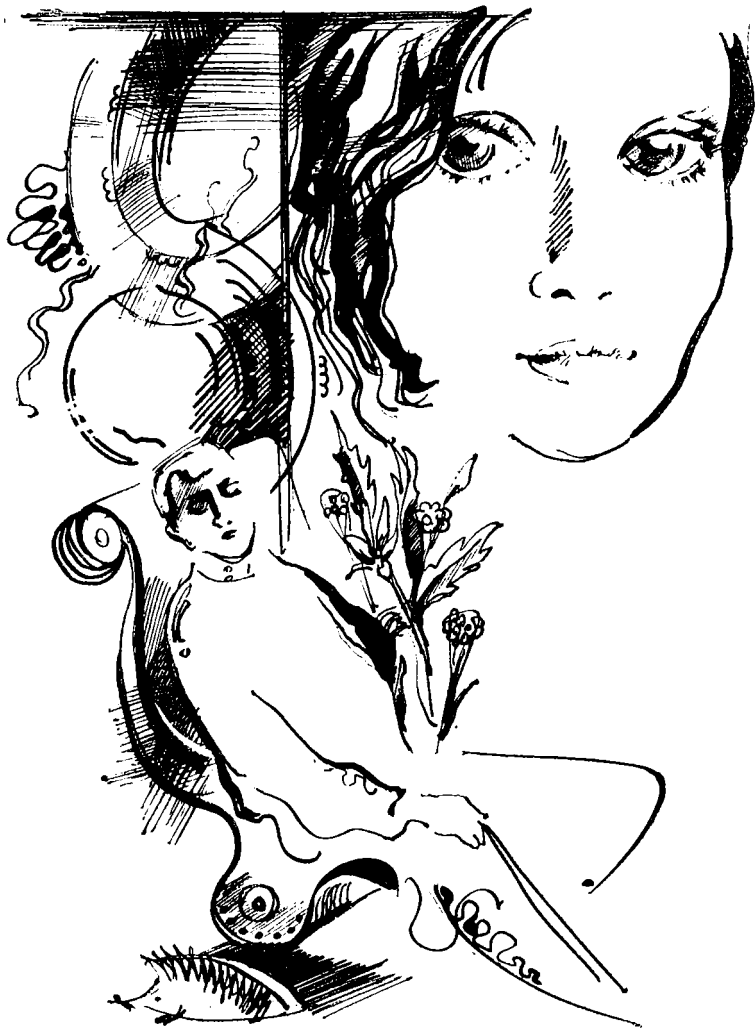
ЗНАКИ ЗОДИАКА





БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ

Сканировал и создал книгу - vtakhankov



ОЛЬГА
ЛАРИОНОВА

ЗНАКИ
ЗОДИАКА

Рассказы



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1983

Ларионова О. Н.

Л25 **Знаки зодиака.** — М.: Мол. гвардия, 1983, — 224 с., ил. — (Б-ка сов. фантаст.).

70 коп. 100 000 экз.

Сборник рассказов о контактах с внеземными цивилизациями, об освоении далеких планет и звездных полетах будущего.

Л 4702010200—240 145—83
078(02)—83

ББК 84Р7
Р2

СОТВОРЕНИЕ МИРОВ

Молодежь — Маколей, Поггенполь, Спорышев и Хори Хэ — стала в кружок, положив руки друг другу на плечи и выжидающе глядя себе под ноги. Анохин стоял поодаль, в углу квадрата, и тоже глядел под ноги. Инглинг, командир отряда, вышагивал вокруг центральной группы и глядел под ноги просто из солидарности — он ничего не чувствовал. С фантазиями молодежь, вот и все.

— Ну, так что? — спросил он.

— Я туп и невосприимчив, — сказал Маколей. — Мне просто чертовски хорошо.

— Впечатление такое, словно вдоль тела скользят какие-то прохладные струйки... — Поггенполь блаженно поежился. — Аэродинамический душ. Восходящий.

— Это запах без запаха, — подхватил Хори Хэ. — Он наполняет душу ароматом ожидания...

— Это, конечно, очень близко, — как всегда смущаясь, проговорил Веня Спорышев, — но все это — эффекты вторичные. А в основе — мощнейшее излучение, какое — сказать не могу, земных, да и каких-либо инопланетных аналогий я просто не знаю... Кроме того, у меня такое ощущение... Кирилл Павлович, идите к нам!

Анохин удивленно вскинул седеющую бороду и послушно, как автомат, двинулся на зов. Он и Гейр Инглинг считались стариками.

Спорышев и Хори Хэ расцепили руки и дали ему место.

— Сильнее стало — чувствуете? — негромко проговорил Веня.

— Командир, давайте и вы сюда! — крикнул Маколей.

Гейр поднырнул под их руки и очутился в центре круга. В воздухе разлился аромат цветущей вишни.

— Ух ты! — сказал Гейр. — Кто там считает, что этот запах — без запаха? Плита благоухает, как сад японских императоров!

— Может, станцую сиртаки? Условия созданы... — Маколей разошелся от радости, что планетку назвали его именем. Земля Маколея. Как мак, алая. Маковая Алая.

— Плита здесь ни при чем, — сказал Веня Спорышев, опуская руки. — Здесь излучает каждый камешек, каждая трещинка. На этом месте просто фонтан, но он глубоже, под плитой. Может, те для того ее и притащили, чтобы место отметить?

— М-да, — покачал головой командир, — хотел бы я знать, кто они, вышеупомянутые «те», и сколько веков назад они притащили сюда эту плиту. Зачем — это уже не так важно.

Все промолчали, потому что, естественно, не меньше командира хотели бы узнать, кто и когда здесь побывал, да и было ли это посещение? Скорее — было... так притягательно все в этом едва сформировавшемся мирке, пребывающем где-то на заре кембрийской эры. Заря здесь была незабываемой — практически она продолжалась с восхода солнца и до заката. Розовое светило окрашивало белые скалы над морем в пастельные тона, а соцветия лилий разве что в полдень обретали свою снежно-белую окраску.

— Блажен, кто на землю ступил порою вешнего цветенья... — задумчиво процитировал Хори Хэ то ли себя, то ли кого-то из классиков. — Маленькая неувязка только в том, что здесь сейчас не весна. Я прикинул: самый конец лета. Правда, мы сели в субэкваториальной зоне, и наш корабельный компьютер дал среднегодовые колебания температуры в пределах двенадцати-

пятнадцать градусов, но все равно поведение здешней флоры представляется мне нехарактерным...

...Путь обратно в лагерь был не такой простой штукой, как могло бы показаться на первый взгляд, во всяком случае, ни у кого не появилось желания продолжить разговор по дороге. Камни, причудливо наваленные на этом крутом шестисотметровом склоне, за две ночи поросли накипью лиловато-розового лишайника; идти по этой пенистой массе, состоящей из миллиардов крошечных нитей и зернышек, было сущей мукой.

На середине склона миновали еще две плиты нездешнего происхождения — лишайник упорно обтекал их стороной. И обе плиты расколоты... Маколей только хмыкнул — ведь их не брал ни геологический молоток, ни лазерный резак. Хори, самый легкий и подвижный, обогнал всех и уже хлопотал в лиловой тени, отбрасываемой «Харфагром», накрывая на стол. Наконец и все остальные попрыгали с последнего уступа на ровную площадку, облюбованную под лагерь, и, стаскивая комбинезоны, сгрудились у ручья. Струя падала с высоты человеческого роста и образовывала естественный душ. Вода была тепла и пузырчата, как нарзан, и на дне лунки, которую она продолбила за долгие годы своего монотонного падения, лениво шевелила лапами большая зеленая лягушка. Время от времени она приоткрывала рот, и Поггенполь утверждал, что она произносит «bon appetit». Отсюда не следовало, что аборигены уже овладели французским языком, — это было не животное, а комплекс контрольных приборов. Пока лягушка оставалась зеленого цвета, воду можно было пить; перемена оттенка на желтоватый говорила бы о том, что теперь вода гадится только для технических нужд, красный цвет вообще запрещал притрагиваться к ней.

Все, кроме, пожалуй, молчаливого Анохина, приветствовали изумрудный индикатор, словно это была знакомая собака. Сказывалось отсутствие на планете жи-

вотных, особенно заметное при таком обилии растительности.

— Пока мы гуляли, — командир занял свое место во главе складного стола и потянулся к миске с салатом, — этот ползучий цветник забрался вверх еще метров на восемьдесят. Интересно, там, за перевалом, тоже все цветет?

— Судя по снимкам, нет, — вежливо проговорил Веня Спорышев, отрываясь от тарелки. — Распространение цветочного покрова идет от берега в глубь материка. Вы не беспокойтесь, последовательные снимки делаются автоматически.

— Ты ешь, ешь, — сказал командир. — Ботаническая сторона меня волнует менее всего. Растениеведов и так наберется в составе комплексной экспедиции больше чем нужно. Они во всем и разберутся. Тут главное — не забыть затребовать специалиста, о котором на Базе не вспомнят. Вот, например, как с этим излучением. Придется теперь просить консультанта по психотронике, представляю, какая физиономия будет у Полубояринова.

Гейр спохватился — обсуждение высшего начальства в присутствии рядового состава в его привычки не входило. Но финал каждой разведки всегда способствовал этому: ведь главным в их профессии была как раз не сама разведка, а составление схемы будущей комплексной экспедиции, которая не должна ничего упустить. Затребуешь лишних специалистов — Полубояринов загрызет: с кадрами туго, планета бесперспективная, а по милости первопроходцев погнажи туда целый караван... Недозакажешь — еще хуже: планету обязательно объявят потом чрезвычайно интересной и перспективной, все богатства и прелести которой невозможно было исследовать вследствие нерадивости разведчиков.

Правда, вслед за комплексниками на планету прибывают освоенцы, и тут у них возникает столько претензий к своим предшественникам, что разведке остается

только руками развести, потому что накал страстей, сопутствующих комплексно-освоенческим конфликтам, как правило, напоминает стартовый выхлоп крейсерского звездолета.

Между тем за столом наступила пауза — Хори замешкался с супом...

— Салат был преотменнейший, — заметил Кит, — рис, кальмары и яйца — из собственного лабаза. Но откуда такой сочный лук?

— Это не лук, — отозвался Хори, — это лепестки водяной лилии. Мы с Вениамином откушали и проверили индикатором...

— Надеюсь, что в обратной последовательности, — строго вмешался командир. — Хорошо еще, что, по-видимому, здесь не найдется ни трилобитов, ни даже червей, иначе мы рисковали бы вот так, без предупреждения, познакомиться и с ними достаточно близко.

Хори Хэ вытянулся, отдавая честь суповой ложкой:

— Есть, шкип, больше не повторится, шкип, впредь обязуюсь команду местными червяками не кормить...

— Вольно, — сказал Инглинг, — давай харчо. Тем более что появление червей здесь можно ожидать не ранее чем через пару миллионов лет.

— Я... э-э-э... не хотел выступать с непроверенными данными, тем более что мне могло показаться... — Спорышев мялся больше, чем обычно. — Короче говоря, вчера вечером на глубине порядка двенадцати метров я наблюдал стаю медуз. Совсем маленьких.

Немая сцена последовала незамедлительно: у одного Хори Хэ хватило чисто азиатского самообладания поставить кастрюлю с супом на землю — у остальных ложки и вилки выпали из рук.

— Великие дыры, черные и белые! — возопил Погенполь. — Ты камеры-то оставил?..

— Естественно. И на разной глубине. И даже все запасные...

— Пошли, выудим парочку, тут не до супа! — рас-
порядился Инглинг, подымаясь.

— Минуточку, — поднял широченную ладонь Ма-
колей. — Не все лавры Веньке. Я тоже не хотел высту-
пать преждевременно, но в пробах грунта как будто бы
прослеживаются остатки беспозвоночных. Более того:
моя дражайшая Маковка не менее двух раз заселялась
разной живностью, затем до основания вымиравшей.

— Палеокатастрофы? — быстро спросил Гейр, по-
косившись на скалы и присевший на амортизаторы
«Харфагр».

— Не исключаю, — кивнул Маколей. — Маковка —
особа спокойная, уравновешенная и отнюдь не первой
молодости, как можно судить по первому впечатлению.
Ей бы, судя по всему, обзавестись зверинцем и зарастить
травой следовало двести-триста миллионов лет назад.

— Откуда такая точность? — ревниво спросил Пог-
генполь.

— Интуиция. Помнишь первую заповедь космопро-
ходца — «доверяй интуиции»? В данном случае —
моей.

Анохин, до сих пор не проронивший ни слова, под-
нял голову, как будто хотел что-то сказать. Но передумал.
Интуиция. Эти мальчики прочно усвоили и писанные
параграфы, и неписанные заповеди. Иначе они не были
бы в тактической разведке. Пока они не обжигались.
Но говорить об этом бесполезно. Можно научить под-
стилать соломку, и даже весьма точно рассчитывать —
где. Нельзя научить не падать.

— Ну ладно, первооткрыватели, — сказал Погген-
поль, — я тоже кое-что приберегу для отчета, хотел в
последние дни семь раз проверить. Господин председа-
тель, леди и джентльмены, хочу уведомить вас, что по-
сещение этой планеты пришельцами пока не установлен-
ного происхождения было отнюдь не единичным. Они
прилетали как минимум дважды.

— Все высказались? — спросил командир. — Ано-

хин, ну хоть ты-то убереги меня от сюрпризов, а!.. Ну, спасибо, милый. Теперь слушайте: властью, данной мне инструкцией, продлеваю пребывание на Маковой Аллее еще на десять дней. Резерв командования. Но прошу блюсти четвертую заповедь!

— Находясь на планете, собирай информацию — отчет будешь составлять в карантине! — гаркнул кто-то из молодых.

Десятый день резерва командования подходил к концу. Солнце, оранжевое и беспечное, уходило за поросшие тюльпанами невысокие хребты. У шестерки людей, расположившихся на камнях у самой черты прибоя, настроение было неважное.

— Мы так ни до чего и не договорились, — констатировал Инглинг, и подчиненные впервые слышали в его голосе тревогу. — Пора сворачивать лагерь, чтобы не возиться в темноте...

— Это все потому, что мы боимся назвать вещи своими именами. Как бы невероятно ни было то, что думает каждый из нас, — это нужно произнести вслух, и решение явится, — без особой убежденности изрек Поггенполь.

— Вот и выскажись, — буркнул Маколей. — У меня лично не хватает словарного запаса. Потому что признать придется попросту чепуху.

— Хорошо, — сказал Спорышев, — хотя, честно говоря, я не понимаю, что во всем этом особенного. На Радзивилле и похлестче было. И меня лично ничто не пугает, просто я знаю, что должен собрать информацию, но не пытаться ее интерпретировать...

— Ага, — обрадованно воскликнул Маколей, — вторая заповедь космопроходца: доверяя интуиции, не делай выводов — все равно у Базы будет свое собственное мнение.

— Вот-вот! Понимаете, Гейр, — Веня поднялся и

зашагал по гальке, усеянной белыми луковичными лепестками, — к сожалению, нас слишком долго приучали собирать факты, сведения, вещественные доказательства... Мы знали, что в любом случае База примет за нас необходимое решение. А тут... Мы прилетели на совершенно безжизненную планету, и на восемнадцатый день зафиксировали жизнь. К моменту отлета — можете полюбоваться, целые плантации цветов.

— Но ведь до нашего прилета этой жизни не было, — растерянно прошептал Хори Хэ.

— Этой — да, — согласился Спорышев. — Если и можно сказать, что жизнь здесь существовала, то только в неявном, зародышевом состоянии. Как бы приблизительны ни были оценки, полученные нами за эти десять дней, мы должны согласиться с тем, что каждое возникновение — или, если угодно, возрождение — жизни на Земле Маколея совпадает с пребыванием на ней разумных существ.

— Вот уж не ожидал от Спорышева такой категоричности! — фыркнул Кит. — Да что, пришельцы сеют споры, что ли? Теория спазматической панспермии?

— Ну, про всех пришельцев не скажу, а я лично ничего не сеял!

— Не волнуйся, Мак, в этом отношении ты вне подозрений. Речь ведь даже не о первичном возникновении жизни. Что именно ее инициировало — в этом комплексе разберутся... или не разберутся. Для нас проблема состоит в том, что для самого элементарного существования и развития здесь жизни необходимо присутствие разума. Если хотите, в качестве катализатора. Другого сравнения я не нахожу.

Инглинг в буквальном смысле слова схватился за голову:

— Ты представляешь себе, Вениамин, как я все это буду выговаривать перед Полубояриновым?

— Ну, командир, если дело только за этим, то я и сам могу изложить...

Анохин поднялся. Он был на голову выше любого из разведчиков.

— Гейр, — сказал он, — какой Полубояринов? Какой доклад? Разве ты не понял, что мы просто не имеем права отсюда улетать?

Наступила тишина. Крупная белая ветка с ломкими, алебастровыми цветами выплеснулась на берег и зашуршала по гальке. Часа через два она укоренится и, как все побеги, выбравшиеся из моря на сушу, порозовеет; завтра же, к моменту старта, ее гибкие плетеобразные ветви вскарабкаются на плоскогорье и, возможно, дотянутся до стабилизаторов «Харфагра».

— Кирилл, — сказал командир, — ты же не новичок. Не тебе объяснять, что остаться здесь до прибытия комплексников «Харфагр» не может. Ресурсов не хватит. Не говоря уж о том, что База никогда не позволит. Если бы обнаружили гуманоиды или случилась авария... Но в последнем случае нас отсюда сняли бы, и все. В этом варианте не за что бороться.

— А бороться вообще ни за что не надо. Вы возвращаетесь обычным порядком и столь же обычно и без спешки, приводящей только к конфузам, высылаете сюда комплексную. Насколько я знаю, она может появиться здесь месяцев через семь-восемь. Столько времени я продержусь. Мне одному ресурсов хватит.

— То есть как это — вы?.. — возмутился Спорышев. — Я биолог экспедиции...

— Венечка, а зачем этим лотосам ваша специализация?

— Ну не я, но почему вы?

Гейр с Кириллом переглянулись.

— Дело в том, — сказал Анохин, — что я умею быть один.

Он чуть было не добавил: «У меня уже есть некоторый опыт...»

— Анохин — специалист по дальней связи, — сухо

проговорил командир, словно Кирилла и не было рядом. — В данной ситуации это, по-видимому, будет решающим.

Кирилл повернулся на каблуках и, заложив руки за спину, засмотрелся на белые, словно покрытые инеем, скалы, выступающие из воды. Общий разговор он считал бесполезным, а Гейр высказался с максимальной определенностью. Что ж, если Инглинг и не был лучшим командиром разведфлота вроде легендарного Рычина, то друг он был надежный. В сущности, он ведь даже не знал, почему Кирилла потянуло вдруг на добровольный подвиг. Он вообще ничего не знал, кроме того, насколько худо было Кириллу тогда, десять лет назад. Тогда Анохин числился в новичках, но Гейр вытягивал его не только потому, что был его командиром. Уже тогда между ними было то великое, которое не имеет названия, потому что понятие «дружба» непозволительно широко. И это великое заключалось в том, чтобы не знать, но понимать.

В глубине вечерней воды, ленточно извиваясь, прошло змееподобное тело. Кирилл оглянулся — никто, кроме него, в воду не смотрел.

На всякий случай он промолчал.

Он проснулся, повернул голову и глянул на календарь: прошло шесть месяцев и одиннадцать дней его робинзонады. Просыпался он с восходом, ложился с последним солнечным лучом. Получалось это само собой, в ритм он вошел естественно и ни о чем не задумывался — так, наверное, не задумывались цветы над тем, когда им открывать или складывать на ночь свои лепестки. Впрочем, это относилось к земным цветам; здешние, как с некоторых пор начинало казаться Кириллу, могли и призадуматься.

Но вот отмечать прожитые дни — это единственное, что никак Кириллу не удавалось. Если бы он вовремя

не перевел календарь на автоматику, то давно потерял бы счет дням.

Он, не одеваясь, выскочил из своего домика, нарвал грибов и швырнул их в приемный раструб автоплиты. Пока та, урча, возилась с грибами, он помчался на свой маленький стадион, раздумывая о том, что весенние дожди унесли изрядную долю песка, поднятого им с пляжа сюда, на плоскогорье (коль скоро ни одного, даже самого захудалого кибя у Кирилла не было, все необходимое приходилось таскать на собственном горбу).

Стадион был залит солнечным светом. Солнца Кирилл не то чтобы не любил, а предпочитал держаться тени, и, словно угадав это, трехметровой высоты цветы — не то маки, не то тюльпаны, — росшие вдоль многочисленных дорожек, сплелись верхушками и образовали крытые аллеи, а над любимой скамейкой Кирилла вырос целый балдахин метра четыре в поперечнике. И это чудо света отнюдь не было исключением: третьего дня со скалы, из которой бил питьевой источник, свесился толстенный стебель с зеленой «бомбой» на конце. Вчера бомба лопнула, брызнув во все стороны померанцевым соком, и за какие-нибудь полтора часа развернула шестиметровый тент бледно-лилового цвета.

Кирилл привычно вспрыгнул на гимнастическое бревно. С детства у него были нелады с равновесием, и здесь, в уединении, наконец-то можно было наверстать упущенное. Он несколько раз повернулся, с удовольствием отмечая, что вальсирует на узкой поверхности без малейшей опасности, и вдруг его взгляд остановился на площадке, открывшейся с этой небольшой высоты.

Несколько серебристых плит вместо того, чтобы спокойно лежать на тщательно выровненной земле, стояли боком.

Это был беспорядок. Кирилл спрыгнул с бревна и, раздвигая цветочные стебли, которые больше походили на стволы молодых деревьев, добрался до площадки. Потревоженные плитки были приподняты какими-то

странными, буровато-лиловыми витыми стеблями, каждый из которых заканчивался пышной седой метелкой. Нужно было иметь достаточную силу, чтобы поставить на ребро увесистую батарею, и тем не менее ни один из новоявленных стеблей даже не погнулся.

Кирилл побежал в сарайчик за лопатой (все приходилось делать самому!). Потом, осторожно сдвинув плиты, он выкопал винтообразные стебли и, отнеся их метров за двадцать, так же бережно высадил в приготовленные ямки. Всем макам и тюльпанам было достаточно двух-трех аналогичных уроков, чтобы больше никогда не приживаться ни на стадионе, ни в окрестностях надувного домика. Как это у них получалось, Кирилл предпочитал не задумываться.

Он пробежал пятьсот метров, выкупался и легко пошел обратно в гору. Вдыхая запах свежезажаренных грибов, заскочил в кухонный отсек и остоленел: сковородка валялась на боку, соус растекся по полу.

Первым побуждением Кирилла было заглянуть под стол и кровать — не спрятался ли там некто любопытный, а может быть, и опасный. Спohватившись, он затряс головой, успокаиваясь: разумеется, нет, десантный домик — это ведь не таежная хибарка, куда любой может заглянуть. Сейчас окна и двери настроены только на него: ни одно живое существо, даже муха, сюда не проникнет, отброшенное силовым ударом.

А ползучее растение?

Рассчитана ли защита на такое вторжение? Вот этого он не знал или, точнее, забыл, и нужно было заглянуть в инструкцию. Прижимаясь из осторожности спиной к стене, он нашарил на кухонной полке пластиковый том и принялся судорожно и бестолково его листать — как-никак с начала его добровольного уединения он занимался сим трудом впервые. Непроницаемость стенок и перекрытий... Антисейсмичность... Настройка входного клапана...

Он вздохнул спокойно. И что он всполошился? Дол-

жен был бы помнить — ни зверь, ни птица, ни камень, ни былинка.

Его дом — его крепость. И какая!

Ну а с тем, что снаружи, он уж как-нибудь договорится. Полугодовой опыт имеется.

Он, нисколько не опасаясь, вылез из домика и пошел к кухонному углу. Так и есть, из-под настила косо торчал виток новоявленного растительного монстра. Пробить пол кухонного отсека, естественно, не удалось, но удар основательно всколыхнул плиту. Так что от завтрака остались рожки да ножки. А, собственно, почему это его удивляет?

Шесть месяцев он жил в этом саду блаженно и беззаботно. Если бы так можно было выразиться, то в полнейшем слиянии душ — собственной и всех этих лилейно-лиственных и лотосцветковых. Хотя после того, что произошло десять с лишним лет назад, вместо души у него должно было остаться пепелище. Все, что происходило потом, проплывало мимо на расстоянии вытянутой руки. Так он проходил комиссии, летал, что-то настраивал, законтачивал, принимал-передавал, а когда особенно везло и натыкались на гуманоидную цивилизацию — возвращался к своей профессии переводчика. Он делал все, что от него требовалось, но не более.

Вероятно, то страшное напряжение, в котором он провел самый страшный год своей жизни, взяло у него все силы души на десятки лет вперед.

Вот и здесь, полгода назад, он безучастно слушал споры, пропускал мимо ушей гипотезы, пока вдруг в его сознание непрошенно не ворвалось что-то прежнее, болезненно резонирующее с прошлой болью. Исчезновение жизни, отсутствие человека — это было изящной абракадаброй, проплывшей мимо ума и сердца.

А вот неминуемое умирание — это было не постороннее. Это уже было у него внутри, затаенное и пронизывающее, как застарелый шип, вошедший в нервное сплетение.

Тогда он и сказал Гейру: «Мы ведь не можем улететь, разве ты не понимаешь?»

С тех пор он жил спокойно и просто, в том естественном ладу с шуршащей, но безгласной зеленью, в каком состоял с ней разве что пещерный человек. Он не рвал ничего, кроме грибов, а ягоды сами скатывались к его ногам. Любой первоцвет, по-щелячи вылезший в неположенном месте, он выкапывал и переносил на безопасное расстояние. Иногда ему вдруг казалось, что кто-то начинает чахнуть и хиреть; он брался за поливку, даже не думая, а в недостатке ли воды тут дело. Но цветок — если будет позволено так называть трех-четыреметровую дубину — мгновенно оживал, и было в трепете и плавных изгибах его листьев что-то от ласкающей собаки. То, что листья тянулись к нему, а стебли наклонялись чуть ли не до земли, Кирилл ни сколько не удивляло.

Но что произошло сейчас? Какие-то вывертыши взбунтовались, ну и что в этом страшного? Растения подросли — не каждое в отдельности, а все целиком, как коллектив; началась пора самостоятельности. Так подросший щенок рано или поздно рвет любимые домашние тапочки хозяина.

Кирилл во второй раз достал лопату и, осторожно подрывая угол собственного дома, выкопал строптивца. Если урок, преподанный одной особи, как-то идет впрок всему остальному клану, то ее следует наказать. Вот хотя бы забраться на ту каменистую площадку, где ничего не растет, кроме местного чертополоха, и посадить туда упомянутую особь, чтобы не сбрасывала завтрак на пол. Мысль показалась Кириллу удачной, и он, опираясь на лопату, начал карабкаться по склону на карниз, прижимая к себе холодный и упругий стебель. Если бы не ковыльная метелка, инопланетный цветок более всего напоминал бы гигантский штопор. Вероятно, сила его роста такова, что, не будь экспедиционный домик защищен со всех сторон силовым по-

лем, эта крученая шутовина проткнула бы пол насквозь.

Кириллу пришлось долбить ямку, потом подтаскивать хорошей земли, потом прилаживать бортик, чтобы дождевая вода не сразу стекала с этого карниза — для этого потребовалось часа полтора. Разогнувшись, Анохин глянул сверху на серебящуюся крышу своего коттеджа, как он его уважительно именовал, — и ему стало не по себе: шагах в десяти от входа, высоко подымаясь над зарослями молочных лотосов, распускал лепестки оранжевый гигант. С шелестом и мясистым пошлениванием раскручивались многоярусные лепестки, каждый из которых мог бы обеспечить парусностью небольшую каравеллу; малиновые прожилки натягивались, принимая на себя тяжесть ярко-рыжей массы, и черный подрагивающий пестик нацеливался в зенит, как копьеобразная антенна. Размерами и какой-то одухотворенной чуткостью этот цветок действительно напоминал антенну радиотелескопа.

Кирилл прислушался к собственной интуиции, как рекомендовали неписанные заповеди. Да, конечно, приятно — вроде бы растут дети... И все-таки в глубине зреет тревога. Ее не было, когда цветы доверчиво наклонялись к нему — подумашь, способность к движениям отмечалась даже у земных растений. Но когда вот так, как сейчас... начинаешь с завистью вспоминать о самшите, который и растет-то едва-едва.

Внизу что-то звучно треснуло, и Кирилл увидел второй персиковый парус, раскрывший свое полотнище возле стадиона. Третий лиловел над метеоплощадкой, где приходилось работать ежедневно. Славно... Приближается теплое время, и ему в любом уголке будет обеспечена прохладная тень.

Вот только непонятно, почему ни дальше по берегу, ни вдоль лишайниковых склонов ничего подобного не наблюдается.

Он спрыгнул с уступа, на котором теперь одиноко

торчал ссыльный «штопор», поглядел на розовое солнышко и отметил, что становится жарковато для ранней весны. Надо пойти к морю ополоснуться. Правда, если двигаться напрямик, придется продираться через заросли, но ведь не впервой. Он легким шагом подбежал к первым невысоким — всего в его рост — цветам, как вдруг узкие восковые чашечки разом обернулись к нему, наклонились и угрожающе часто защелкали твердыми лепестками, совсем как аисты клювами.

— Вы что, сдурели? — крикнул Кирилл, отступая и прикрывая лицо локтем.

«Характер показывают», — подумал он, теперь начиная понимать, кажется, почему все предыдущие посетители Маковой Аллеи рано или поздно покидали сей райский сад. Если и дальше так пойдет, то придется перебираться в горы, синеющие километрах в пяти от моря, — там еще пока один лишайник. Вымахали, понимаешь ли, с космодромную антенну, а ума ни на грош.

Он вернулся к своему ручью, где беспокойно шевелилась чуть побуревшая лягушка, ступил на тропу, усыпанную принесенной с моря галькой, — тут были одни глуповатые маки. Он задрал голову, удивляясь внезапному ускорению их роста, и не сразу заметил, что ноги его ступают уже не по камешкам, а по чему-то упругому. Он глянул вниз — узкий лист, напоминавший банановый, устлал дорожку, и сейчас его боковые края хищно забились, словно он собирался свернуться в трубочку, заключив внутрь человеческое тело. Кирилл хотел рвануться вперед, но ноги его завязли в клейкой зеленой массе; единственный выход был в том, чтобы мгновенно сгруппироваться и сильным рывком покатиться вперед; тело проделало это быстрее, чем обдумал мозг, и Кирилл из этой замыкающейся уже зеленой трубы вылетел, точно горошина из стручка. Развернувшись, он помчался вперед со спринтерской скоростью и вылетел на площадку возле домика, несказан-

но радуясь, что хоть она-то не поросла скороспелыми макозубрами и тюльпанозаврами.

Впрочем... да, один таки побился.

Возле самого порога торчал новорожденный желтый ирисенок, не достававший Кириллу и до колена. Он еще явно не освоился на белом свете и, запрокидывая нежную головку, отчаянно зевал, оттягивая вниз широкий бородатый лепесток. Кирилл, как ни торопился, не выдержал и присел на корточки — ничего нет забавнее и умильнее, чем зрелище позевывающего или чихающего новорожденного.

— Дыры небесные, черные и белые, — проговорил он, — неужели и ты подрастешь только для того, чтобы меня слопать?

Желтенькая пасть разинулась снова, и Кирилл не удержался и сунул туда палец. Ирисенок тотчас же палец выплюнул, отчаянно затряс лопушками боковых лепестков и беззвучно чихнул, разбрызгивая медовую слюну. Кирилл фыркнул. Стебель цветка резко отклонился назад, спружинил, бледные лепесточки мигом собрались в щепоть, и Кирилл не успел отдернуть руку, как ирисенок небожно, но обидно клюнул его в ладонь.

— Дурашка ты, дурашка, — проговорил в сердцах Кирилл.

Путь обратно, к источнику и в горы, был перекрыт. Кирилл вошел в домик, схватил рюкзак, швырнул в него несколько пищевых пакетов, кислородную маску, радиомаячок, микропалатку. Включил рацию. Набрал сообщение: «Подвергся нападению хищных растений. Перебазируюсь на восток, шесть километров от стоянки, на чистые скалы. Прошу корабль». Он подключил к аппарату запасы энергии и послал аларм-сигнал. Такая связь существовала для крайних случаев, и сейчас Кирилл справедливо опасался не столько за себя, сколько за комплексников, которые должны были здесь вот-вот высадиться с оправданной беззаботностью. Поло-

жим, его действительно съедят, кто ж тогда предупредит целую экспедицию? Беда еще была в том, что послать такой сигнал, собрав всю резервную мощностъ, он мог, и этот сигнал будет обязательно принят всеми аварийными буйками данной зоны, но вот принять ответ ему не по силам — нужна мощнейшая антенна, соорудить которую экипаж «Харфагра» был не в состоянии. Значит, придется отсиживаться где-то в пещере, жевать концентраты, запивать морской водой и ждать.

Он сунул за пояс десинтор непрерывного боя и, немного помедлив, распахнул входную дверь. Прыжок — и он на дорожке, ведущей к стадиону.

Вряд ли его ждут здесь, потому что сразу за стадионом — крутой спуск к морю, и, по логике вещей, там Кириллу делать нечего. Только бы не сцапали на дорожке. Он мчался сквозь строй гладких и мохнатых стеблей, и у него не было ни времени, ни желания рассматривать, что же такое мельтешит между ними, словно плетется толстая многослойная циновка. Никто ему не препятствовал, и он твердил про себя в такт дыханию — проскочить, проскочить...

Он вскинул голову, повинувшись вновь пришедшей волне опасности, и увидел это. Если до сих пор все растения Маковой Аллеи имели определенное и даже подозрительное сходство с земными, то розовое облачно-аэростатное образование, покачивающееся над стадионом на тонюсенькой ножке, вообще ни на что похоже не было. Покачивается лениво и совсем не агрессивно. Была не была...

Кирилл с разбегу вылетел на стадион, держась левой кромки, прибавил скорость, косясь вверх, и в тот миг, когда он был уже на половине дистанции, гриб-дождевик апатично сказал «пуффф» и выбросил во все стороны целое облако поблескивающих легких спор. Они снежно закружились, опадая, и у каждой по мере падения отстал едва видный нитяной хвост. Кирилл

врезался в это облако, как в паутину, клейкие нити за-
ленили лицо, опутали руки и ноги, при каждом вдохе
норовили влезть в горло и нос. Кирилл отчаянно зама-
хал руками, пытаясь содрать с себя эту липкую па-
кость, а главное — освободить ноги, и тут мягкий, но
сильный толчок в спину повалил его на землю. Целый
пучок тонких, как парашютные стропы, волокон оплел
его ступни и теперь спазматическими рывками втаски-
вая обратно, в крытую галерею дорожки. При каждом
рывке Кирилл проезжал метра полтора-два, и если бы
не заплечный мешок, спина была бы ободрана.

Выбрав момент, он оттолкнулся локтями от земли,
выхватил из-за пояса десинтор, перевел фокусировку
на самый узкий луч и пережег стесняющие движения
лётучие нити, кое-где прихватив и одежду. Вскочил на
ноги. Путь обратно, через открытое пространство ста-
диона, был отрезан — дымчато-алый дождевик, зорко
прицеливаясь, покачивался, сея редкие блестящие спор.
Ломиться в обход, через чащу цветочных зарослей, не-
лено — изловят. Прожигать коридор — опасно, может
не хватить зарядной обоймы, и тогда он очутится в са-
мой гуще хищников. Значит — назад, в домик. Выбо-
ра нет.

Он помчался по дорожке, для верности поводя перед
собой непрерывным лучом. Никто, однако, его не за-
держивал. У самого дома он выключил десинтор. Гро-
мада рыжего паруса нависла над ним, создавая огнен-
ную тень, но он успел перескочить порог и захлопнуть
за собою дверь.

Сначала — полная герметизация, автономное кон-
диционирование, потом — рация... После второго аларм-
сигнала копать со сборами спасательной группы не
будут, вышлют автоматический скутер. А ему больше-
го и не надо. На третьи сутки он включит маячок, и
далее останется часов сорок восемь, не более. Столь-
ко он продержится на полной автономии без малейше-
го напряжения. Недаром его с такой легкостью оста-

вили одного — сейчас спасение альпинистской самодеятельной группы где-нибудь в Гималаях, учитывая все земные ограничения и сложности, порой проблематичнее, чем снятие одного неудачника с чужой планеты или буйка. Разумеется, в более или менее освоенной зоне дальности.

Он еще раз проверил, все ли меры предосторожности приняты, и вдруг ощутил упругий удар в пол — там мощными толчками пробивался «штопор». Ну, это тебе не по зубам, подумал Кирилл.

Домик ходил ходуном, подбрасываемый дробными ударами, пол пробивали уже в нескольких местах. Не нажить бы морскую болезнь. Кстати, он сегодня так и не позавтракал, а в этой обстановке не пахнет и обедом.

Домик встал на боковую стенку. Кирилл покатился в угол, успел глянуть в окно и сообразил, что его убежище уже оторвано от земли и приподнято витыми колоннами на высоту человеческого роста. Не собираются ли они поднять его и бросить, как это делают обезьяны, домогающиеся сердцевины лакомого ореха? Веселенькая перспектива, даже если учесть упругость конструкции... Да, возносят. И с приличной скоростью. Ну и жизненный потенциал у этих витых дубин, эдак они его на высоту Исаакиевского собора подкинут...

Ослепительная вспышка, заставившая его отшатнуться от окна, на долю секунды поставила его в тупик, но в следующий миг он понял, что боялся не того, чего следовало бояться. Силовой кабель, соединявший домик с системой батарей... Вот о чем он не подумал. А если подумал бы — так что тут поделаешь?..

Теперь энергия у него только та, что дадут аккумуляторы. Если отключить все, даже кондиционер, то запасов хватит на поддержание силового поля... компьютер и тот не включишь. Правда, можно временно снять защиту с потолка, да и на окнах теперь придется оставить молекулярную проницаемость, иначе задохнуться

можно. А вот о втором аларм-сигнале и речи быть не может. Скверно. Одна радость — напуганные возникшим разрядом, столбы вроде бы прекратили свой рост. До земли метров пять, ничего себе свайная постройка... И сбрасывать домик некуда — внизу все поросло витым частоколом, в нем с шипом и посвистом скользили сине-зеленые лианы, сплетая гигантский упругий тюфяк. Если так будет продолжаться, то они просто-напросто передавят друг друга собственной массой.

Глупыша-желторотика, надо думать, уже затоптали.

Он немного подивился тому спокойствию, с которым его мозг отмечал безвыходность положения. А что, собственно, ему оставалось, кроме спокойствия? Распахнуть дверь и палить, пока обои не кончатся? Так разве пробьешься через такие-то джунгли! Эх вы, тюльпанчики-живоглотики, да меня ведь со всеми потрохами вам и на зубок не хватит. Напрасно топчетесь, аппетит нагуливаете. Вот когда сказывается недостаток серого вещества...

Он отполз от окна, привалился к перевернутому столу. Да, сидеть вот так, скучая в ожидании, когда тебя отсюда выдернут, точно улитку из ракушки, — последнее дело. Хорошо бы оставить письмо Гейру, но ведь диктофон не включишь... Хотя зачем диктофон? Где-то тут имеется старый добрый карандаш. И рулон перфоленты. Почему бумага розовая?.. Ах да, солнце пробивается сквозь лепесток «паруса» — и то слава богу, не жарко. Значит, так: «Гейр, дружище! Пишу тебе не столько затем, чтобы заполнить время, сколько для того, чтобы ты ни в чем себя не обвинял. У меня и раньше было желание сказать тебе несколько откровенных слов, да как-то разучился я пространно выражать свои мысли. Устно во всяком случае. Так что сейчас я, если обстоятельства позволят, потрачу, наверное, больше слов, чем сказал бы до конца своей жизни, завершись все это более или менее благополучно...»

Кирилл покосился на окно — алая тень сгушалась, хотя солнце стояло высоко. Значит, кашалотовая пасть приближается. Не торопись, милая, не все сразу. А бумагу можно будет засунуть под столик — когда аккумуляторы иссякнут и домик, вероятно, сомнут, письмо уцелеет.

«Так вот, Гейр, я ни в чем тебя не виню — начиная с того момента, когда ты сманил меня в космос; ты только предложил, а решал-то я сам. Не такой уж я был щенок, чтобы не оценить всю глубину собственной непригодности. Хотя до конца я осознал ее только сейчас.

Дело в том, что на Земле за человека в большинстве случаев решают обстоятельства. Здесь же нужна интуиция. Да, да, та самая, которая в наших заповедях стоит на первом месте. Но интуиция должна обладать одним непременным свойством — адекватностью. Иначе она и называется по-другому: блажь, фантазия, химера... Моя интуиция меня всегда подводила. Вот хотя бы сейчас: подо мной собрались хищные монстры, не подумай, что какие-нибудь звероящеры или мегамуравьи — нет, невинные на первый взгляд цветочки. И число им — тьма. Надо думать, слопают, потому как уже принаравливались. Если, конечно, скутер не подоспеет.

А мне все равно их жалко, они давят друг друга, калечат. Особенно маленьких. За эти полгода я привык думать о них как о безгласном зверье. Не так уж это смешно, если сейчас глянуть из окна вниз...

Ты нисколько не виноват в том, что десять лет назад запихнул меня на этот буй — помнишь, в одном светляке от Земли? Все, что я там натворил, было исключительно делом моих рук... вернее, моего ума. Ты не знаешь об этом, да и никто не знает, я и сейчас тебе ничего не объясню, и ты только поверь, что я сотворил нечто чудовищное. Непостижимое с точки зрения здравого разума. И в живых я остался только благодаря какому-то странному — интуитивному, что ли? — ощуще-

нию, что я должен свою вину... искупить... Это было невозможно. Забыть? Смешно. Не знаю, Гейр, слово не находится, а время идет, и я боюсь не то чтобы солгать — создать у тебя неверное представление о той истории.

Короче, что-то я должен был сделать. И десять лет я провел как в спячке — это не приходило, не подворачивалось. Пока мы не забрались сюда, на Маковку. Помнишь, с каким редкостным единодушием мы изобрели красивую легенду — что для существования этого мира необходимо присутствие человека? Не знаю, как ты, а я в нее поверил с первого момента, и не только потому, что красота — почти неопровержимый аргумент.

Дело в том, что мое преступление, тогда, десять лет назад, было, если можно так выразиться, уничтожением любви. И теперь я мог расчитаться той же монетой. С кем? Со вселенной, наверное. Ты уж прости меня за высокопарность.

Я был почти счастлив, Гейр, потому что я полюбил этот мир, и он платил мне тем же. Я, как средневековый философ, уверовал, что моя любовь обращается жизненной силой, питающей моих подопечных. Доказательство было налицо — нигде окрест я не видел столь буйного и радостного цветения. И это зимой!

В хорошенькие дебри завела меня интуиция, а?

А теперь я скажу тебе, если успею, как на самом деле обстоят дела. Помнишь, Веня все ловил какое-то живительное излучение? Мы только отметили, что оно присутствует, хотя и не фиксируется никакими приборами. И забыли о нем.

По-видимому, не гуманоиды, а вот это самое излучение необходимо для существования жизни. А мы и те, что были в прошлом, его только включали, инициировали. Курковый эффект. Сами по себе мы всем этим лютикам нужны не больше, чем статуя Венеры Милосской. А то, что вблизи меня они росли с повышенной

интенсивностью, доказывает только наличие взаимодействий между этим пока не опознанным излучением и каким-то из многочисленных полей, создаваемых организмом человека.

Детишки подросли и, как тигрята, переступившие границу млекопитания, «потребовали «мяса». Все просто, осуществляется закон борьбы за существование, и никаких тебе абстрактных законов всеобщей любви. После меня они начнут с хрустом лопать друг друга. Вот видишь, как все просто, когда вместо плохой интуиции включаешь хотя и не блестящий, но абсолютно здравый смысл.

Я знаю, что скутер уже идет — наверное, нырнул в подпространство, — но он далеко, а этот рыжий кашалот совсем близко. Объем цветочной чашечки таков, что весь мой домик поместится в ней. Сейчас загляну в заднее окно... Так и есть. В комнате все красным-красно, створки лепестков закрываются. В спину мне смотрит здоровенная черная колба — пестик. Как только сядут аккумуляторы, он пробьет окно. Это мне подсказывает интуиция. А вот что так пахнет? Разорвался пакет со специями. Нет. Гейр! Запах, Гейр...»

Лепестки гигантского мака сомкнулись, словно створки алой тридакны, но человек, защищенный такой хрупкой и недолговечной коробочкой, как десантный домик, уже ничего не слышал.

Не услышал он и того, что произошло спустя всего несколько часов.

Он проснулся от солнца, бившего ему прямо в лицо. Поднялся, держась за гудящую голову. Пошел к окну — пол под ногами пружинил, словно домик оседал в болото. Дверь входного клапана покачивалась, аккумуляторы стояли на нуле. С полным безразличием Кирилл глянул наружу — и ужаснулся.

Под ним была мертвая свалка растений. Домик сто-

ял на каких-то бурых пожухлых доскутьях, под которыми виднелись полегшие витые стволы.

Он перевел взгляд — метрах в пятидесяти высилась гряда свежееотваленной антрацитовый породы, кое-где поднимался фонтанчиками горячий пар. В воздухе было пыльно и пахло ушедшей бедой.

Он кинулся к двери и замер на пороге: местность искажилась до неузнаваемости. Лиловатые лишайниковые склоны исполосовало чудовищными сбросами, а вершина невысокой горы, из которой бил источник, раскололась надвое и обнажила блестящую сталактитами пещеру. Гиблые ступени сбросов шли до самого моря, перемежаясь с трещинами уже осыпающихся по краям каньонов. Такая же трещина метров пяти шириной змеилась под самым домиком, и если бы не плотная сетка переплетшихся растений, он ухнул бы в эту пропасть со всею своею хваленной защитой. Но они собрались сюда, сползлись со всего плоскогорья, оберегая его, единственного, как муравьи или пчелы оберегают свою царицу — любой ценой, и теперь умирали с подрезанными корнями, переломанными стеблями.

А письмо к Гейру?.. Уверенный в их кровожадности, он приписывал им сатанинскую борьбу за кусок мяса, а они тем временем плели последние этажи своего гениального амортизатора, нисколько не заботясь о том, что сами будут через несколько часов превращены в крошево.

Господи, стыд-то какой...

Высоко, в зените, возник тоненький вой. В туче пыли, еще не осевшей после недавнего землетрясения, нельзя было рассмотреть — скутер ли это, ведомый автоматом, или крейсер с комплексниками. Надо сразу же дать ракету, а то повсюду трещины, да еще оборванный провод под током... Но прежде всего — письмо.

Он нашарил за столиком рулон перфоленты, оборвал исписанную часть и, торопливо разрывая ее в клочки, стал приглядываться — кто же все-таки пожаловал.

Все-таки скутер... Молодцы буевики-аварийщики, почти не опоздали. Кирилл снова вылез на порог, чтобы лучше видеть, как, разметывая песок и отгоняя воду, садится на самую черту прибоя ладный и верткий кораблик.

Двигатели выключились, призывно взвыла сирена — отвратительный, неживой звук на этом мертвом берегу. Кирилл, морщась, ждал, когда ей надоест и она выключится, и продолжал машинально рвать свое письмо, и бумажные обрывки падали вниз, в крошево листьев и лепестков, и сразу становились неразличимы.

ДОТЯНУТЬ ДО ОКЕАНА

«Начальнику Усть-Чаринского космодрома. Срочно обеспечить аварийный прием экспериментального космолета «Антилор-1». На корабле неисправен энергораспределитель. Тормозные устройства, основные и дублирующие, не получают полной мощности. По-видимому, в том же режиме работают и генераторы защитного поля. При вхождении корабля в плотные слои атмосферы связь с ним прервалась.

В силу сложившейся чрезвычайной ситуации ввести в действие все системы слежения и коррекции посадки. Первый каскад гравитационных ловушек космодрома включить при вхождении корабля в зону Кабактана, основные каскады — за тридцать секунд до пересечения Джикимдинской дуги.

Начальникам Оттохской и Куду-Кюельской энергостанций. Подключить все резервные мощности к энергоприемникам космодрома.

Старший координатор околосемельных трасс Дан Эризо».

Кончив диктовать, он отошел от передатчика и, ссутулившись еще больше, положил ладони на тепловатую поверхность малого горизонтального экрана. Под его пальцами замерла, словно пойманная и затаившаяся,

нечеткая световая точка — «Антилор». А еще ниже, в глубине толстого органического стекла, медленно плыло, подползая под эту точку, изображение земной поверхности. В правом верхнем углу мерно мигал счетчик высоты, неуклонно сбрасывая цифры. И все-то было так, как в самом обычном, рядовом рейсе...

— Фонограмму можно было и не посылать, — проговорил у него за спиной Полубояринов. — Самый крайний вынос ловушек — в Черендее. Но они пройдут много западнее.

Эризо не ответил. Перед Полубояриновым был большой дисплейный пульт, на котором вычислительные машины уже проложили курс корабля до северной оконечности материка. Но Эризо и без этого знал, где пройдет «Антилор». Он это прикинул раньше, чем начал диктовать фонограмму. И все-таки он надеялся.

— Один маневр, один маленький, едва ощутимый маневр... — Он и не заметил, как произнес это вслух.

Полубояринов с шумом выдохнул воздух сквозь стиснутые зубы. Он не первый год работал с Даном, и каждый раз, когда что-нибудь случалось, он начинал прямо-таки ненавидеть своего координатора за его преувеличенную способность казнить за любую ошибку, в которой ему чудилась хотя бы стотысячная доля собственной вины. Вот и сейчас, когда стало ясно, что на пути «Антилора» нет ни одной зоны гравитационного перехвата — ни краешка зоны! — он представлял себе, как жестоко и бесполезно мучается этот человек, мучается оттого, что был в числе тех, кто разрешил посадку на Землю этого удивительного корабля. Полубояринов тоже дал согласие на посадку «Антилора», и теперь единственное, о чем он позволил себе вспомнить, — это то, что им с Даном, слава богу, удалось настоять на своем и заблаговременно переправить на базу весь экипаж корабля, исключая тех, без кого осуществить посадку было практически невозможно, то есть командира, первого пилота и старшего механика.

— Каких-нибудь четыре градуса на норд-ост!.. — не унимался Дан.

Первого пилота Полубояринов знал хорошо. Собственно говоря, он знал его не хуже, чем любого другого, он вообще знал каждого человека, которому доверял выход в большой космос. *Каждого*, как бы это ни казалось невероятным. И если сейчас Оратов не делает ничего, чтобы войти в зону перехвата, значит, корабль больше не способен маневрировать, и сам Эризо, будь он на месте Оратова, не смог бы ничего сделать.

А еще скорее это означает, что на «Антилоре» уже никого нет в живых. Есть только раскаленная добела гигантская болванка, стремительно теряющая скорость и высоту. И если бы только болванка! Нет, это был скорее орех, несущий в своей сердцевине сгусток энергии, эквивалентный нескольким водородным бомбам, адский орех, по-видимому лишенный уже и спасительной скорлупы — защитного поля, хранимый теперь только тоненькой оболочкой титанира — самого прочного и тугоплавкого вещества, созданного когда-либо человеком, все феноменальные достоинства которого не помогут, когда «Антилор» врежется-таки в землю...

— Когда оборвалась связь, они были еще живы, — словно угадывая мысли своего друга, пробормотал Дан.

Полубояринов повернул голову и посмотрел на его сутулую спину. Да. Они, возможно, еще живы. Но речь уже шла не о них. Как бы это больно ни было, теперь уже речь шла не о командире корабля Эльзе Липп, и не о пилоте Борисе Оратове, и не о механике Оскаре Финдлее.

Речь шла о взрывном эквиваленте в несколько водородных бомб, и случиться это могло в любой момент... Разумеется, тревога была объявлена уже давно — целых шестнадцать минут назад, в тот самый момент, когда «Антилор» внезапно переменил курс и сообщил, что идет на Усть-Чаринский космодром. Тревога была объявлена, и эвакуация людей шла полным ходом, но раз-

ве мыслимо было спасти всех, оказавшихся в угрожаемой зоне?..

— Вышли на финишную прямую! — вдруг каким-то высоким треснувшим голосом крикнул Дан. — Ну, давайте!..

Крик этот был так резок, а слова так чудовищно нелепы, что Полубояринов вздрогнул. Вот этого только и не хватало — к набухающей неминуемости взрыва, к последним минутам Эльзы, Оратова и Финдлея — еще и Дан, который от бессильного отчаяния, кажется, и впрямь свихнулся.

А ведь он сам виноват не меньше, он, начальник координационного центра, поддавшийся на уговоры этих лихих молодчиков из института Дингля и разрешивший посадку «Антилора», которого ближе внешней таможенной орбиты к Земле и подпускать-то было нельзя... Две посадки на Атхарваведе — нашел, на чем купиться; две посадки и два старта с Атхарваведы... Он поймал себя на том, что еще немного, и он заговорит вслух, заговорит ненужно и покаянно, совсем как Дан Эризо, и подумал: скорее бы все кончалось, и тут же каким-то сторонним сознанием отметил, что сам недалек от того, чтобы спятить, если уж у него могла появиться подобная мысль, и в довершение всего он вдруг представил себе Эльзу, величественно-спокойную и, как все эстонки, немного похожую на Снежную королеву, и в своем сосредоточенном спокойствии всегда готовую на любое отчаянное, но обдуманное действие...

Ах, да что он. Ни отчаянность, ни мудрость тут не помогут. Остались, по-видимому, секунды: секунды бесилия человеческого разума и человеческой воли. Он позволил себе еще несколько минут постоять перед большим экраном. Собственно говоря, здесь не его место, здесь — рабочее место старшего координатора, где на главном тактическом дисплее прокладываются все трассы кораблей, крейсирующих между орбитальными станциями и Землей; полчаса назад, послушные прика-

зу Дана, все пунктирные расчетные кривые, бегущие впереди каждого корабля до точки его запрограммированной посадки, исчезли из этого квадрата. Теперь по нему шел единственный корабль — «Антилор-1», и старшему координатору нечего было делать на своем привычном рабочем месте, потому что именно этот корабль больше ему не повиновался. Чуткий, уникальный по своей маневренности — и не только маневренности! — космолет превратился в тусклое подслеповатое пятнышко, с тупостью насекомого ползущее по экрану вверх, почти точно с юга на север; одинокая пунктирная строчка проступала впереди нее — скупая мера пространства и времени, остававшегося Оратову, Финдлею и Эльзе; позади же не было ничего, кроме тысяч квадратных километров земной поверхности, которые по мере движения на север этой слабо поблескивающей точки становились безопасной, неугрожаемой зоной.

Полубояринов понимал, как худо — намного хуже, чем ему самому, — приходится сейчас Дану, и что надо бы сказать ему что-то, пусть не ласковое, не ободряющее, просто что-то, не позволяющее ему долее оставаться в скорлупе одинолично взваленной на себя вины; но вместе с тем ему чудилось, что двинь он хотя бы одним мускулом лица или краешком губ, оторви он взгляд от поверхности экрана хотя бы на тысячную долю секунды — и это случится немедленно.

Поэтому он молчал, до сухой рези в глазах вглядываясь в нечеткий пунктир, и с некоторых пор его не оставляло ощущение, что давным-давно, может быть, в детстве, на каких-то старинных картах он уже видел этот маршрут.

Вот только — где?

А корабль, охваченный огнем, продолжал, неуклонно теряя высоту, двигаться почти точно на север, и траектория его строчечной линией прикрывала на экране едва приметные точки со странными названиями: Кежма, Тетера, Вановара...

Еще каких-нибудь полчаса назад ни Оратов, ни даже Эльза Липп не предполагали, что им придется идти таким курсом. До сих пор они думали об одном — как поднять корабль обратно на орбиту. Поэтому на фонограмму координационного центра, в самых категорических выражениях предписывающую перейти в аварийную капсулу и катапультироваться, молчаливо и единодушно решено было пока не отвечать. Все трое прекрасно понимали, в какой чудовищный неуправляемый снаряд превратится покинутый и мстящий за измену себе «Антилор». Энергобаки его были полным-полны — излишняя предусмотрительность на случай непредвиденного маневрирования, оборачивающаяся теперь неминуемостью взрыва.

Конечно, можно было бы доложить, что на катапультную систему тоже не подается энергии, но не хотелось терять на это и долей минуты. Сейчас важно было одно: пока корабль полностью не вышел из повиновения, вздернуть его на дыбы, уйти в заорбитальную зону и там, в относительной безопасности для Земли и космических станций, взорвать его, пока не поздно.

Но «Антилор» оказался лошадкой с норовом. Он только дернулся, круто изменил курс и впал в эпилептическое вращение. Эльза в своей жизни видала и не такое, она успела перевести управление на ручное, и вдвоем с Оратовым они кое-как выровняли движение, но и в этот момент Финдлей крикнул, что энергораспределитель вообще не подает мощность на двигатели. Во время конвульсий корабля он не успел удержаться и порядком-таки расплющил свой нос о пульт управления вспомогательными механизмами; от боли он зашипел и даже начал слегка заикаться.

— П-повезло еще, — пробормотал он, — на Чаре п-перехватят...

Это была последняя фраза, принятая координационным центром. По тому, как плавно, без всплесков, угас специфический шум в наушниках, Эльза догадалась,

что питание перестало подаваться и на фон дальней связи. Земля отключилась. Со всеми своими координационными центрами, спасительными зонами перехвата и далекой Усть-Чарой, на которую так напрасно надеется Оскар... Она оглянулась на своего старшего механика: кровь из разбитого носа капала на какой-то экран, и рука Финдлей с клетчатым носовым платком протирает стекло с такой медлительностью, словно влажный комок платка был пудовой гирей.

Значит, и Финдлей заметил, что они проходят мимо Чары.

Рука с платком остановилась.

— Попробую гравитационную подушку, — хрипло, но уже больше не заикаясь, проговорил старший механик.

— Рановато, — отозвался Оратов. — Когда совсем снизимся, тогда включим гравитационный генератор на режим пульсации и попробуем таким образом отталкиваться от поверхности. Методом блохи.

— Оскар, — попросила Эльза, — проверь подачу на генератор.

Финдлей еще громче засопел разбитым носом, и было слышно, как щелкают под его пальцами контакты. Один, два, три, четыре. Столько, сколько нужно, чтобы включить генератор.

— А кто-нибудь из присутствующих видел живьем настоящую блоху? — неестественно веселым тоном спросил вдруг Финдлей. — Хотя бы собачью?

Так. Значит, и на этот канал подачи нет. Но не может же быть, не бывает так, чтобы энергораспределитель заперся весь, по всем каналам. Ведь какие-то крохи еще просачиваются на генератор защитного поля...

— Защитное поле.

Это произнес Оратов. Да, зеленый колпачок сигнальной лампочки кажется черным. Вот теперь уже окончательно все, и они уже не в кабине сверхсовершенного космического корабля, а внутри тупого, нака-

ленного ненавистью ко всему земному и разумному метеорита. Неудержимо его стремление к Земле, и нет такой силы, которая заставила бы его дотянуть хотя бы до океана.

Связь. Защитное поле. Гравитационная подушка. Тормозные двигатели. Все ли проверено, командир? Может быть, есть еще выход? Тормозные... гравитатор... защита... связь... Все проверено. Неужели до океана не дотянуть?

В кабине было тихо, и мертвые приборы цепенели, остывая. Стрелки замерли на нулях, лампы и табло недружелюбно чернели, и смотреть можно было только на экран, который один жил, и двигался, и дышал, и, казалось, даже испускал тепло — по иронии судьбы фиксатор курса был единственным старым прибором на этом ультрасовременном космолете. И по старости и допотопности своей он, к счастью, питался от собственной автономной батареи.

Экран был сер и густо испещрен точками населенных пунктов различного калибра. Но и Эльза, и пристегнутый к соседнему креслу Оратов прекрасно понимали, что на самом деле все то, что лежит прямо по их курсу, отнюдь не серо, а имеет все мыслимые и немыслимые оттенки зеленого, потому что впереди расстилается заповедное море бережно сохраненной, тщательно ухоженной и густо заселенной тайги.

Заселенной *людьми* тайги.

— Вановара... — почему-то шепотом проговорил Оратов. — Я же там был. Заповедник по акклиматизации обезьян. Такие пушистые японские мартышки, и по носам у них видно, что не желают они привыкать к сибирским холодам... Но ведь, кроме мартышек, там люди, тысячи людей!..

— По-моему, — отозвался Оскар, — мы сами сейчас напоминаем зверей в клетке. Мы ведь даже не можем взорвать эту махину — упустили момент! А там, в координационном центре, тоже хороши — надо было не

слюни разводить, а расстреливать нас, пока мы были в доброй сотне километров над поверхностью. А теперь... Я вас спрашиваю, что нам остается теперь, — разве что молиться всяким там богам, ненецким, эскимосским или еще черт их знает каким, только бы помогли добраться до океана...

— Тунгусским, — медленно, почти по слогам проговорил Оратов. — Мы идем прямо на Тунгуску, неужели вы не догадались?

Но они догадались, догадались уже давно (потому что давность в этом полете исчислялась долями секунды), и теперь каждый медлил только потому, что никак не мог понять: как это вышло, что они забыли о самом главном на корабле, о том, для чего, собственно говоря, и был создан «Антилор»?

— Расчехляйте дингль! — крикнула Эльза.

Как они забыли об этом? Дингль! Ну конечно же — дингль! Казалось, небольшой серебряный колокол наполняет весь корабль тревожным и радостным гулом своих ударов — дингль! Дингль! Дингль!..

Почему самый простейший выход отыскивается только в последний момент?

— Печати, пломбы — все долой! — Она не могла, не имела права отдать такой приказ — дингль был опечатан после ходовых испытаний, первый и единственный в мире дингль, и теперь коснуться его стартовой кнопки можно было лишь с разрешения Верховного Космического Совета.

Оратов и Финдлей, срывая ногти, стаскивали с консоли пульта синтериклоновый чехол. Шоколадные сургучные печатки дождем сыпались под ноги, словно ореховая скорлупа. Если бы Эльза промолчала, они все равно сделали бы то же самое, потому что это был последний шанс.

— Да скорее же... Есть? Даю мощность!

Под ее руками брызнул пучок изумрудных искр, словно под колпачками сигнальных лампочек подожгли

бенгальский огонь. Стрелки приборов с такой яростью метнулись вправо, что, казалось, погнулись, ударившись об ограничители. Пилот и механик, обернувшись, установились на центральный пульт. Никто не сказал ни слова — и без того всем было ясно, что произошло, и никто не знал, почему все происходит именно так, а не иначе. Да, свихнувшийся энергораспределитель гнал всю мощность энергобаков на один-единственный прибор — и именно на тот прибор, который мог в сложившейся ситуации спасти если не экипаж космолета, то, во всяком случае, те тысячи людей, которые не успели покинуть угрожаемой зоны.

Дингль это мог... Вернее, смог бы, продержись корабль в воздухе еще две с половиной минуты. Потому что ровно столько времени требовалось динглю на прогрев.

Продержится ли «Антилор»? Еще две минуты двадцать секунд... Эльза сжала руки, на них проступили синие жилки. Спокойно, командир, спокойно. Не нужно, чтобы тебя видели такой. Хотя — кто увидит-то? Оратов и Финдлей замерли, не отрывая глаз от пульта, на котором через две минуты и десять секунд должна загореться надпись:

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ К ПУСКУ ГОТОВ

И тогда механик врубит стартер дингля.

Они не поднимутся на орбиту — этого дингль не может.

Они не дотянут до океана — и этого дингль не умеет.

Но они спасут свою планету от чудовищного взрыва, потому что они вообще уйдут из этого времени.

И это сделает дингль.

Три пары глаз неотрывно глядели на часовой циферблат — оставалось две минуты и секунда. Ни у кого почему-то не появилось мысли, что энергоподача на дингль может прекратиться, как это было с генератором защитного поля или с тормозными двигателями.

Преобразователь времени был вне подозрений, вне случайностей. Дингль — это не сердце корабля и даже не мозг, потому что то и другое можно было найти на любом звездолете. Дингль — волшебная палочка, магический талисман этого единственного в мире корабля...

Минута пятьдесят две секунды.

Они зачарованно следили за секундной стрелкой, все мысли были прикованы к динглю. К динглю? Так, и только так. Никто и никогда не называл эту установку ее полным, настоящим именем — «реверсивный энерговременной преобразователь Атхарваведы». Пользовались только прозвищем, утвердившимся то ли благодаря серебристо-звонкому, вибрирующему звучанию самого слова, то ли вообще потому, что прозвища обладают феноменальной прилипчивостью. В свое время кто-то заметил, что аналогичное явление уже имело место в средние века, когда московский храм Покрова незаметно для себя вдруг получил имя юродивого Василия.

Минута пятьдесят пять секунд.

А между тем «Антилор» неудержимо мчался к Земле. Единственный космолет, которому разрешили посадку не на орбитальную станцию, а прямо на поверхность планеты; единственный носитель единственного дингля; единственный (да что за наваждение — сплошное средоточие единственностей!) трансгалактический лайнер, который вообще имеет смысл запускать в межзвездное пространство.

Дело в том, что уже в начале этого века без особых теоретических, но с некоторыми чисто конструктивными трудностями были достигнуты скорости, весьма близкие к скорости света, и в разное время на различных околоземных верфях было построено девятнадцать звездолетов.

И тогда со всей остротой встал вопрос о преодолении парадокса времени. Жители всей планеты дебатировали вопрос: а имеет ли смысл запускать корабли, которые в силу этого проклятого парадокса смогут

вернуться обратно только через несколько десятилетий, если не столетий? Порочный круг, из которого не вырваться: увеличивается скорость и, казалось бы, сокращается время возвращения домой... Но неумолимо возрастает разрыв между отсчетом времени в системе Земли и в кабине корабля. Чем фантастичнее скорость, тем медленнее движутся стрелки корабельного хронометра. И возвращение домой практически теряет смысл: домой — не получается. Дом исчезает в прошлом. Вот уж воистину — чем лучше, тем хуже. И действительно, хорошего вышло мало. Из восемнадцати кораблей, посланных в просторы галактики, за эти три четверти столетия вернулись только два: инфраскоростная модель Балабина и лайнер Атхарваведы, облетевший Шестьдесят Первую Лебедя. Атхарваведа открыл несколько планет, одна из которых получила его имя, и выдвинул идею преобразования энергии в обратное время.

Традиционно-остроумные физики, еще четверть столетия доводившие общие мысли Атхарваведы до реального воплощения в виде компактного прибора, дружно именовали свою установку «темпоральным холодильником» и утверждали, что возятся с ней исключительно из удовольствия насолить старику Эйнштейну, ибо уже давно установлено, что из всех мыслителей, когда-либо обитавших на Земле, именно этот печальный любитель игры на скрипке умудрился сделать открытие, принесшее затем всем ученым (не говоря уже об остальных жителях планеты) максимальное число осложнений и неприятностей.

А затем дингль, который еще не назывался динглем, был опробован на автоматической модели. Небольшой космический катер описал петлю в пространстве, двигаясь с субсветовой скоростью, вернулся к околоземной станции, откуда был запущен, уже в начале будущего века, и тут автоматически сработала установка Атхарваведы — специальный резерв энергии был преобразован в обратное время с таким расчетом, чтобы

корабельные часы снова совпали с земными. Звездолет был выброшен из будущего в настоящее (то есть для себя самого — переброшен в прошлое) и подошел к космическому причалу, словно был обыкновенным грузовиком с Юпитера.

Собственно говоря, «темпоральный холодильник» мог отодвинуть корабль в любой момент прошлого, но из соображений более этических, нежели энергетических, было решено поставить на этом преобразователе жесткий ограничитель, позволяющий только выравнивать времена — земное и корабельное. Но не более. Таким образом, субсветовой космолет попадал после возвращения в ту точку временной оси, где он находился бы, не действуя на него парадокс близнецов. Пусть с момента его вылета на Земле проходило сто лет, а в кабине корабля — два месяца, компьютер дингля скрупулезно высчитывал разницу и отправлял корабль назад, в прошлое, ровно на девяносто девять лет и десять месяцев.

Таким образом, и на звездолете, и на Земле ожидание продолжалось одинаково — два месяца. А парадокса времени словно и не бывало. Как будто прав был убежденный скептик Герберт Дингль, так до самой смерти и не поверивший в существование парадокса времени. Теперь Дингля вспомнили, начали склонять его по делу и без дела, посылать в его адрес шуточные поклоны и приветы, и как-то так получилось, что к моменту создания первой мощной практической установки ее уже никто иначе не именовал, как только «дингль». Так незлобивая память физиков соединила величайшее достижение века с именем давно позабытого профессора-ретрограда, и, кажется, именно Финдлей тогда вспомнил про историю с Василием Блаженным, и хорошо тогда было ему шутить, он и не подозревал, что через полтора года именно он поведет на Усть-Чаринский космодром первый корабль, на котором будет установлен этот первый действующий дингль, и что испытания это-

го корабля закончатся вот этим невыносимым ожиданием — не собственного спасения, куда уж! — а возможности спасти своих современников от надвигающейся невиданной катастрофы.

Двадцать шесть секунд. Двадцать пять. Двадцать четыре.

— Как быть с резервным баком? — крикнул Оратов.

Эльза махнула рукой. Какой там резерв? Основных баков хватит больше чем на тысячу лет, только бы ничего не произошло в эти самые последние секунды, только бы...

— Реле забыли снять! Реле ограничения! — не своим голосом заорал Финдлей.

Ну, это работы на пять секунд — сорвать реле. То самое реле, которое автоматически уравнивает времена — земное и корабельное. А хорошо, что Оскар спохватился, иначе скачка в прошлое просто не произошло бы — ведь оба времени сейчас одинаковы, уравнивать нечего, сколько ни гони энергии на преобразователь. С реле скачок получился бы нулевым. Но сейчас ограничитель выдран из своего гнезда, провода скручены, теперь уже ничто не мешает динглю зашвырнуть «Антилор» со всем его содержимым в любые доисторические дебри. Ничто не мешает, кроме тех восьми секунд, которые еще остались на прогрев. Семь секунд. Шесть. Пять. Четыре...

— Ну же!.. — не выдержал Финдлей.

Эльза повернула голову и стала спокойно смотреть на него, и это спокойствие длилось целую вечность — секунда, другая, третья... «Снежная королева, — подумал Оратов, — Снежная коро...»

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ К ПУСКУ ГОТОВ!

Это как в детстве, когда разом зажигаются огни на новогодней елке. Загораются на ней полуторавольтовые лампочки, и приходит то состояние человеческого духа,

которое лежит у предела шкалы абсолютного счастья. На обыкновенный язык оно переводится словами: «Вот оно!...»

— Вожу весь запас, — сказала Эльза полувопросительно, словно кто-то мог ей возразить. Возражать же было некогда и нечего: каждый полный энергобак — это лишняя взрывная мощность при ударе о поверхность. И каждый использованный конденсор — это еще одна сотня лет в прошлое, это еще большая уверенность в том, что там, внизу, в зеленом мареве тайги (или доисторического леса) нет и не может быть людей.

— Ну, поехали! — произнесла Эльза традиционную фразу, с которой начинался любой звездный полет, хотя «Антилор» был первым кораблем, который уходил не к звездам будущего, а к Земле прошедших тысячелетий...

Когда светящаяся точка на экране расширилась, утратила свою яркость и растворилась в сероватом мерцающем фоне, Полубояринов неволью задержал дыхание и на один миг прикрыл глаза. Всего на один миг, потому что до сих пор они только ждали, а теперь надо было действовать. Координационный центр автоматически превращался в штаб борьбы с последствиями взрыва. Собственно говоря, в этот миг он уже думал не об Эльзе, Оратове и Финдлее, а о том, как организовать сюда, в Прибайкалье, доставку специальных антирадиационных дивизионов.

Поэтому, когда прошла уже не одна секунда, а двадцать, тридцать, и минута, он осторожно шевельнулся и глянул на старшего координатора, словно говоря: «Пора, Дан, дружище». Но Эризо по-прежнему стоял навтыжку возле опустевшего экрана, словно часовой в почетном карауле.

— Пора действовать, дружище, — проговорил наконец Полубояринов. — Ведь там сейчас пострашнее Хиросимы.

Дан, не поворачивая головы, поднял сухую ладонь, как будто хотел загородиться от прямого попадания

этих слов. Полубояринов повел плечами — это у него получилось так же заметно, как все, что он делал. Дан весь напрягся и замахал рукой, словно самое главное сейчас было — не распугать установившуюся над пультом мертвую тишину; наконец, он глянул на Полубояринова, и тут только до него дошло, что тот до сих пор ни о чем не догадывается.

— Они летят, — почти не шевеля губами, прошептал Дан. — Какая Хиросима? Они еще летят...

Экран перед ним был абсолютно пуст.

— Где? — так же шепотом переспросил ошеломленный Полубояринов.

Тогда Дан небрежно кивнул куда-то в сторону, и начальник координационного центра, следуя его жесту, удивленно поглядел направо, потому что знал собственный центр как свои пять пальцев, и ничего имеющего отношение к «Антилору» здесь быть не могло. Действительно, на стене висел лишь примелькавшийся и ставший поэтому неприметным так называемый «черный атлас», на котором кружочками, на расстоянии кажущимися совершенно черными, были обозначены все несчастные случаи, имевшие место в Приземелье за последние три с половиной века. И только вблизи эти точки приобретали металлический отлив: коричневатый — катастрофы с космическими грузовиками, обошедшиеся без человеческих жертв; лиловые — разведывательные и пассажирские полеты, стоившие жизни экипажу, и, наконец, немногочисленные зелено-золотистые, словно спинки жуков-бронзовиков, крапины — нерасследованные происшествия и не поддающиеся объяснению явления, напоминающие последствия космических аварий.

Один из таких кружков, залезая зеленым бочком на мелкую надпись «Подкаменная Тунгуска», имел самую древнюю в этом атласе пометку: «1908 г.». К этому-то кружку и протягивалась сейчас сухая ладонь Дана.

«Неужели они рискнули запустить дингль? — опешил Полубояринов. — Выходит, рискнули и успели...

Сообразили — и успели. Я один, как идиот, ничего не понимал...»

— Вот, значит, как оно было, — бормотал он уже вслух. — А мы-то считали, что на Тунгуске тогда не погиб ни один человек...

— Помолчал бы ты, Григорий, — сказал Дан. — Они еще летят.

А они действительно еще летели. Летели так, словно ничего не случилось. Ровно светился всеми своими контрольными лампами оживший центральный пульт, лениво покачивались стрелки всех корабельных приборов, сыто гудел генератор защитного поля, вибрировал под ногами пол — тормозные двигатели с безоглядной щедростью пожирали энергию, словно энергобаки «Антилора», как всегда, были полны до краев. А ведь дингльбросок оставил после себя лишь крохи. Все основные баки он выдоил дочи́ста. И заплатил за это еще одним чудом: во время дингль-перехода все стало на свои места, энергораспределитель словно прочистил свое горло и начал исправно перекачивать энергию из последнего, резервного бачка, от которого так небрежно отмахнулась Эльза, на все приборы, двигатели и генераторы. Почему это произошло?

Почему? Потому. На то они и были первыми испытателями дингль-корабля, чтобы принять на свои плечи все чудеса, которые может преподнести скачок во времени. Все? Черта с два — все. Те, кто будет вторыми, да и третьими, тоже хлебнут. Сюрпризов, по-видимому, надолго хватит. Беда только — уже не предостеречь тех, кто будет следующими. Не передать им...

«Что это? — подумала Эльза. — Уж не предсмертная ли тоска, горечь незавершенности земных дел? Чушь. Романтические штампы. Это естественный анализ только что проделанной работы. Допущен просчет: один из основных баков тоже надо было придержать и тем обеспечить сейчас мягкую посадку. И тогда — пусть тайга, пусть хоть мамонты и пещерные волки, пусть вся доисто-

рическая зубастая нечисть — но это была бы жизнь... А ведь Оратов и Финдлей тоже думают сейчас об этом».

Она искоса глянула на Оратова. Нет, непохоже, чтобы он думал об этом. Оратов был космическим асом, и если из четырех двигателей проработают немного хотя бы два, он посадит корабль.

Но на одном не посадит и он.

Двигатели взрывывали и снова умолкали — Оратов вкладывал уже не только все мастерство, но и всю интуицию в то, чтобы экономить на каждом маневре хотя бы кроху горючего. Оскар находился рядом, в какие-то моменты их головы касались друг друга. Финдлей не спускал глаз с высотомера и время от времени что-то вполголоса подсказывал Оратову. В кабине становилось жарко — ни у кого не подымалась рука включить генератор охлаждения. Надо экономить энергию. Оставлено самое необходимое, такое, как прокладчик курса, который торопливо как ни в чем не бывало высвечивал на карте агрогорода и атомные станции, связки и выходы подземных коммуникаций, зоны бесканальных энергопередач и еще многое такое, что теперь существовало только в его электронной памяти и чего, естественно, не было там, внизу.

— Мы сейчас пересечем дорогу... — тяжело переводя дыхание, проговорил Оскар. — Я это точно помню. Чугунную дорогу.

— Железную.

— А нас порядком подбросило вверх...

— Естественно. Изменение массы корабля в момент дингль-перехода — баки-то ведь опустели...

— В пространстве мы этого смещения попросту не уловили.

— В пространстве мы много чего не уловили... — Оратов осекся: выключились сразу два двигателя.

Несмотря на гул, по-прежнему наполняющий рубку, Эльзе показалось, что кругом стало нестерпимо тихо. Ведь если в грохоте и свисте урагана умолкнет плачу-

щий ребенок — матери покажется, что на мир снизошли покой и тишина...

Опять какие-то сентиментальные ассоциации. Откуда ей знать, что думают матери? Опирайтесь надо на собственный опыт, а не на прочитанную в перерывах между полетами беллетристику. Позади у нее испытания, подготовка к испытаниям, отчеты по проведенным испытаниям — и не было времени ни для материнства, ни, в сущности, для любви. Годы испытаний, десятилетия испытаний — и как же мало оказалось этого сейчас! Многолетний опыт, в нужный момент не обернувшийся тем безошибочным даром, который именуется интуицией...

Финдлей снова что-то сказал Оратову, но от нестерпимой жары кровь пульсировала в висках, и Эльза уже не расслышала, о чем он говорил. Оратов упрямо качнул головой. Корабль дернулся еще раз, словно собирался набрать высоту. Высота. Еще бы немножко запаса высоты. И чуточку энергии в основных баках.

А вот это уж совсем лишнее — если ко всему прочему «Антилор» потянет на вращение... Молодец, Оратов. Справился. Если бы она придерживала еще один бачок, они бы вообще со всем на свете справились.

— Идем строго по программе... — донесся до нее голос Финдлея, — и, насколько мне помнится, публикации двадцатого века приписывали нам невразумительные вариации по скорости и высоте...

— Этих специалистов сюда бы, — выдохнул Оратов.

— Между прочим, пора бы пройти Кежму, — не унимался Оскар. — Авторы публикаций о тунгусском метеорите требуют, чтобы мы круто свернули на восток.

— Ну, это нам не по карману... — уже не расслышала, а догадалась Эльза.

Даже не по гулу, а по вибрации пола она чувствовала, что еще один из двигателей сейчас захлебнется. «Антилор» мчался вседальше на север, неуклонно гася скорость, но все-таки она еще была настолько велика,

что о посадке нельзя было и мечтать. Половину бака бы на тормозные, ну не половинку, так хотя бы треть...

— А ведь это Чуня, — каким-то звенящим фальцетом завопил вдруг Оскар. — Чуня! Вы понимаете? Мы прошли *это* место, и нас несет на север, все дальше на север, к океану...

Оратов замотал головой, словно отмахиваясь от совершенной несуразицы, но потом, видимо, краем глаза усмотрел прокладку курса. Тогда он налег грудью на рукоятку управления и так, пригнувшись к пульту, медленно повернул голову назад и глянул на Эльзу.

Она кивнула.

— Так оно и есть, мальчики, — проговорила она хрипло и подумала, что голос ее вряд ли доносится до них сквозь гул захлебывающихся двигателей и лиловую пелену нестерпимого печного жара. — Я тут прикинула в уме... Даже если баки были наполовину пусты, то и тогда мы должны очутиться на целый порядок глубже в прошлом, чем полагали сначала...

Оратов глядел на нее, то ли не слыша ее слов, то ли не веря им. Потом нашарил на панели управления какой-то тумблер и, не глядя, нажал его. Тоненько засвистел генератор охлаждения, и в кабине стало можно дышать.

— Значит, это были не мы, — медленно проговорил он, все еще глядя вполоборота на Эльзу. — А если не мы, то кто же?

Эльза сделала слабое движение руками — вот уж, мол, чего нам не будет дано разгадать. А дано им было еще несколько минут, потому что, оказывается, третий двигатель как-то незаметно вырубился, и «Антилор» шел теперь на одном-единственном, и посадка была с этого момента совершенно невозможна, и больше всего на свете Эльза боялась, что сейчас кто-то скажет: раз уж это были не мы, то, может быть, у нас есть хотя бы один шанс?..

Но Финдлей хлопнул себя по коленке и восторженно завопил:

— Братцы, так ведь нам же памятник поставят! — И захохотал так, что казалось, включились все двигатели разом. — Никто же на базе не догадается, что это были не мы, и нам такой монумент отгрохают!..

Оратов ударил себя по лбу, откинулся на спинку кресла и тоже захохотал — искренне, неудержимо. Эльза и сама чувствовала, что ее разбирает смех. Это было нелепо, а если глядеть со стороны, то просто страшно, и тем не менее через минуту хохотали уже все трое, хохотали до слез.

— Нас высекут из камня — во! — в масштабе десять к одному, как фараонов, из царственного карнакского песчаника!

— Фи, Оскар, мы будем смотреться только в мраморе...

— Тогда почему бы не отлить наши фигуры из хрусталя? С голубой подсветкой...

— Уймитесь, фантазеры, — попыталась вмешаться Эльза, — там же трясина!

— Чепуха! Тем, кто построил «Антилор», по плечу любая трясина и вечная мерзлота! Монумент будет висеть в воздухе на антигравитационной подушке!

— Братцы, мы забыли про салют! Вменить в обязанность всем космолетам, возвращающимся на Землю...

— Троекратный, Оскар, троекратный!

Ни в этих словах, ни в интонациях не было ни на йоту фальши, так веселиться могли только люди, которые долго и дружно делали какое-то чертовски сложное дело, и вот они свалили его с плеч. И решить эту задачу помогла им сказка о неведомом, трагически погибшем корабле, залетевшем из чужой звездной системы прямо на Подкаменную Тунгуску. Не припомни они эту легенду — и мысль запустить зачехленный и опечатанный дингль пришла бы слишком поздно.

Но они успели. До своего океана они дотянули.

Последний двигатель отключился, когда они шли над Таймыром. Взрыва не произошло — энергобаки были пусты. Они просто канули в ледяной океан, дойти до которого было их последней целью.

ВЕРНИСЬ ЗА СВОИМ СТОРОМ

Было уже больше пяти. Астор шел пустеющим институтским коридором, и, по мере того как оставались позади стеклянные двери лабораторий и мастерских, уходили привычные дневные мысли, уходило все то, что делало его просто физиком. Оставалось пройти шагов двадцать, спуститься по традиционным ступеням вестибюля, миновать сосновую аллею и войти в свой дом, расположенный в каких-нибудь пяти минутах ходьбы от института и двадцати минутах полета до Союза писателей.

Когда он дойдет до своего дома, он уже окончательно перестанет быть физиком, потому что наступит вечер. По вечерам же он был не просто Астором Эламитом, а всемирно известным писателем. Он шел не спеша, хотя именно сегодня ему следовало торопиться. Но он заглядывал в каждую дверь, входил иногда в какую-нибудь комнату, осматривался, заглядывал за шкафы и приборы. Он отдыхал. Это был маленький перерыв, передышка, отдушина между теми двумя состояниями, через которые он с неумолимой периодичностью проходил каждый день. Именно так — не профессиями, а состояниями. Несколько минут, когда он позволял себе быть не тем и не другим, а просто усталым, отрешенным от всего человеком. И, как всегда, эти минуты он тратил на то, чтобы найти Рику — он знал, что она еще не ушла из института.

Он нашел ее на подоконнике в малой кибернетической. Она сидела, положив подбородок на колени, грустная и нахохлившаяся, и было видно, что ко всем ее

маленьким девчоночьим бедам только и не хватало Астора.

Он подошел к ней и остановился. Надо было что-то сказать. А он даже и не представлял себе, для чего он ее искал. Надо понимать, ему просто доставляло удовольствие ее видеть. Но вот теперь, глядя на нее, он искал в себе это самое удовольствие, радость, пусть маленькую, но обязанную возникнуть, — и не находил. Что общего было между ним и его белобрысой нерадивой практиканткой? Он частенько думал над тем, какая же сила заставляет его искать ее, мучительно подыскивать нелепые, чужие фразы, и все-таки искать, и все-таки говорить, и все-таки смотреть на нее...

— Почему вы остались? — спросил он невыносимым голосом. — Вы же знаете, что энергоподача прекращена по всему институту.

Она посмотрела на него с высоты своего подоконника и кротко ответила:

— А я энергии не потребляю.

«Забавно, — подумал Астор, — но что я буду делать с этой сценой вечером, когда все это будет происходить уже не в жизни, а в моей повести, когда я буду уже не я, а другой, моложе и обаятельнее, и не с этим дурацким именем — Астор, удивительно напоминающим кличку благородной охотничьей собаки, — а тот Стор, внешне напоминающий капитана из старого бульварного романа, наделенный всем тем, чего так не хватает мне самому? С девчонкой-то я уже разделался — я превратил ее из долговязой белобрысой Рики в златокудрую красавицу Регину, но как быть с этим диалогом? Могу ли я позволить, чтобы и в моей повести она мне так же дерзила?»

— Ступайте домой, — сказал он как можно строже. — Практикантам не позволяется задерживаться в помещениях института без присмотра сотрудников.

— А вы за мной присмотрите, — сказала она, под-

тягивая колени к груди и освобождая кусочек подоконника. — Вы сядьте рядышком и присмотрите за мной.

«Ну, голубушка, — думал он, продолжая стоять, — а вот это я уже непременно сохранию. Моя Регина обязательно скажет: а вы присмотрите за мной... И подвинется на подоконнике. Но вся беда в том, что я, то есть не я, а Стор, сядет рядом, и что будет потом, господи, что будет потом... Ведь знаю, что все банально до отвращения, аж пальцы на ногах поджимаются, и все-таки буду писать. Литература, черт ее дери...»

— Послушайте, девочка, — сказал он, заранее чувствуя, что будет сейчас говорить совсем не то, что нужно. — Я неоднократно советовал вам переменить профессию. Не теряйте времени, порядочного физика из вас не выйдет. Не тот склад характера.

— Я и не собираюсь стать порядочным физиком. — Она несколько не смутилась. — Я с этого только начну. А потом я стану Настоящим Писателем, как вы.

Он удивленно посмотрел на нее. Он никогда не говорил в институте о своей второй профессии — он тут же поправился: о своем втором состоянии.

— Это много труднее, чем стать просто физиком, — сказал он медленно. — Можно писать всю жизнь и не стать Настоящим Писателем.

— Вот я и буду писать всю жизнь.

— Но сначала надо научиться писать на бумаге.

Это очень мучительно — писать на бумаге. Ты сам знаешь о своем герое так много, что невольно перестаешь понимать, удалось ли тебе вложить в подтекст все то, что никак не умещается в печатных строчках. Для тебя этот подтекст существует потому, что все то, что ты думал, когда создавал свою повесть, или роман, или даже коротенький рассказ, все это всегда при тебе, и, когда ты перечитываешь написанное тобой, тысячи ассоциаций роятся у тебя в голове и волей-неволей создают то переплетение звуков, запахов, ощущений и желаний, которое делает написанное живой плотью; но

все это только для тебя. А как проверить, существует ли все это для постороннего читателя?

И даже свое собственное, оно может звучать совсем по-разному в зависимости от того, написано ли это пером, напечатано на машинке или оттиснуто типографским способом. Вот и разберись, где у тебя вышло по-человечески, а где — просто никуда. Пишешь и пишешь, мучаешься несказанно и в один прекрасный день решаешь послать все к чертям, потому что уже очевидно, что ничегошеньки из тебя не получилось, — и вдруг, как снег на голову, решение Совета Союза писателей о том, что тебе присваивают право быть Настоящим Писателем.

И ты перестаешь писать на бумаге.

— Хочу так же, как вы, — упрямо повторила Рика, — хочу быть Настоящим Писателем и создавать живых людей.

«Совсем еще девчонка, — подумал Астор, — совсем еще глупая. Все они в определенном возрасте мечтают или летать на Уран, или быть Настоящими Писателями. Но, как правило, к шестнадцати годам это проходит. Половина из них марают бумагу, но дальше бумаги идут единицы. Единицы со всей планеты. У остальных проходит. Пройдет и у этой, пройдет само собой, так что не надо ничего говорить. Разубеждать девчонку в желании стать кем-нибудь — занятие неблагодарное и, главное, начисто бесполезное».

— Для того чтобы создавать живых людей, мало хотеть, — с удивлением услышал он собственный менторский тон. — Это право присваивает Совет писателей, но и оно не пожизненно. Его могут дать и могут отобрать. И потом, среди Настоящих Писателей чрезвычайно мало женщин. По всей вероятности, это происходит потому, что женщины имеют возможность создавать живых людей другим, более естественным путем, и это у них получается лучше.

Рика покраснела так стремительно, что Астор даже

перепугался, но она только крепче прижала колени к груди, подождала, пока ей не показалось, что краска уже сошла, — а на самом деле она держалась еще минут десять, — и снова повторила упрямо и зло:

— Вот хочу и буду, хочу и буду. Это будут мои люди, совсем мои, я их выдумаю, заставлю дышать, двигаться, мучиться, а главное — жить по-человечески. Понимаете — я научу их жить так, как я хочу.

— Понимаю, — медленно сказал Астор. — И я об этом мечтал. Я мечтал о том, как мои герои будут жить. Я мечтал о том, как я их произведу на свет божий. Я заранее знал, как непозволительно я буду их любить. Но так же, как и вы, я забывал, что рано или поздно я должен буду их убивать.

Он сказал это и тут же пожалел, и не потому, что этого не надо было говорить Рике, а просто он хотел отдохнуть и ни о чем не думать до тех пор, пока он не дойдет до своего дома, но вот то, что подсознательно мучило его даже днем, когда он думал о своей физике, вырвалось наружу, и теперь ему не будет покоя даже на эти несколько минут.

Наверное, все отразилось на его лице, потому что Рика спустила ноги с подоконника, прыгнула на пол и пошла к нему с каким-то странным выражением, почти гримасой.

— А!.. — сказал он и, махнув рукой, быстро пошел прочь, пошел из института, пошел по короткой сосновой аллее домой, где ждал его диктофон, соединенный непосредственно со студией Союза писателей, и всю дорогу он не знал, что же ему делать, потому что повесть его подошла к своему естественному концу, и этот конец должен был стать концом его Стора. Конец — это все не обязательно трагическая развязка. Конец — это даже тогда, когда «они поженились и жили долго и счастливо». Конец — это точка, когда герой, которого ты вынылчил и выходил, на ноги поставил и выучил творить те чудеса, которые самому тебе не под силу,

завершает отмеренный тобою отрезок своего пути; кульминация, развязка — и он больше не повинует тебе, больше ему с тобой делать нечего. Он больше не твой.

И вот ходишь, и маешься перед тем, как поставить эту самую последнюю точку, и ищешь способ сделать своего героя если не бессмертным вообще, то хоть смертным по-человечески, и ничего не можешь придумать, и тянешь, и тянешь время, пока не наступает такой день, как сегодня, когда кончать надо обязательно. Потому что Настоящий Писатель не имеет права уходить из жизни, не распорядившись судьбой своего героя. Это было жестоко, но справедливо, иначе все старались бы оставлять свои произведения незаконченными, чтобы позволить своим героям жить иллюзорной жизнью студии, жить в мире декораций и проектируемых объемных фигур, которые заменяют персонажей второго плана.

Это очень тяжело — прекратить существование собственного героя, поэтому право быть Настоящим Писателем предоставлялось только очень мужественным людям. Астор не относил себя к разряду таких людей, но, по-видимому, так считали другие; он не ошибался в себе, и вот теперь, когда его первая повесть, не написанная на бумаге, а разыгранная созданными им живыми людьми, фактически давно уже подошла к своему концу, у Астора не хватало мужества поставить точку.

Но сегодня было необходимо это сделать, потому что завтра в его лаборатории ставился эксперимент, который мог закончиться довольно печально. Астор не мог послать никого и шел сам — он один знал, насколько велик риск.

Завтра все могло быть.

Значит, сегодня необходимо было кончить со Стором.

Астор дошел до ступеней своего дома и оглянулся. Громада института, окруженная соснами, высилась,

словно снежная гора. Рика, наверное, снова взобралась на подоконник и смотрит ему вслед. Белобрысая Рика, которую один раз в день он обязательно должен был видеть. Откуда она узнала о его втором состоянии? И потом это «хочу создать живых людей»... В студии не принято говорить о своих героях, что они живые люди. Говорят — «сценические биороботы», или «материализованные образы».

Но ведь это действительно почти живые люди, живущие краткой, наперед заданной, но чертовски яркой и завидной жизнью. Как Стор.

Астор сел, подвинул к себе диктофон и вдруг почувствовал... Это было странное, невероятное ощущение минутного всемогущества. Да черт побери все на свете, ты же человек неглупый, почти талантливый человек. Настоящий Писатель притом! Так ищи же выход, делай невозможное, спасай своего Стора! Еще есть время. И не тяни со всеми этими амурами, подоконниками и златыми кудрями! Главное — это Стор. Спасай его!

Он включил диктофон.

— Выйдя из института, — начал он, — Стор знал, что никогда, ни теперь, ни потом, он уже не увидит Регину.

«Так ее, рыжую, — подумал он, — ее-то я дематериализую без всякой жалости».

Он быстро шел по аллее, но, когда она уперлась в дверь его дома, вдруг помедлил и, обогнув его, очутился на посадочной площадке, где каждый вечер, начиная с пяти, его ждал маленький спортивный мобиль. Он поднял машину в воздух и через двадцать минут уже был там, где за частыми стволами сосен поднималась дымчатая стена студии. Она огораживала площадку в несколько сотен квадратных километров и поэтому казалась совершенно плоской. Стена уходила высоко в небо, и облака сливались с нею, делая ее бесконечной. Здесь когда-то Стор впервые встретился с Региной, и теперь он бессознательно нашел это место,

возле корявого, облепленного муравьями пня, и стал ждать, сам не зная чего, присев прямо на короткий сухой мох и изредка сбрасывая с ботинка огромных красных муравьев, упрямо шедших напролом...

Астор немного подумал: может, добавить еще что-нибудь? И выключил диктофон. Абзац принят, он поступил на студию. Теперь, пожалуй, кибер-ассистенты уже расшифровали его и готовят реквизит: мобиль для полета и все такое, а павильоны прежние — копия дороги от института до самого дома Астора, площадка для мобилей за домом и роща. Но это уже не павильон, это натура, столь редкая в студии.

Пора.

Астор вышел из дому, вывел машину из гаража и резко взмыл вверх. Он взял направление не на главный корпус студии, а туда, к стене, как раз к тому месту, куда с другой стороны через некоторое время должен выйти его Стор.

Астор не любил летать на большой высоте. Оживленные трассы пролегли в стороне и значительно выше, поэтому он спокойно смотрел вниз сквозь прозрачное дно машины и пытался представить себе, что же происходит сейчас там, на студии.

Вчера он оставил Стора в его лаборатории. Диалог с Региной — скверный диалог. Тянул время, оно и чувствуется; абзац закончил тем, что Стор чертыхнулся и прогнал Регину на ее рабочее место.

Значит, сейчас перед началом нового эпизода кибер-ассистенты вложили в память Стора все то, что он якобы делал между разговором с Региной и выходом из института. А может быть, уже заработали аппараты, невидимые для Стора, и началась съемка, и Стор послушно огибает свой дом, как это было продиктовано Астором, и берет мобиль, и машина поднимается, но не в поднебесье, как настоящий мобиль, а всего на несколько метров, а потом включается проекция заранее отснятых кадров, и Стору кажется, что земля уда-

ляется, что под ним проносятся города и роши, тянутся неестественно прямые дороги и каналы. А на самом деле макет его мобиля подвинется всего на несколько десятков метров в сторону, туда, где растут настоящие деревья возле запретной дымчатой стены, и весь этот полет будет продолжаться не более тридцати секунд, потому что нельзя же заставлять зрителя наблюдать получасовое сидение героя в машине; но, когда Стор приземлится, у него останется ощущение, что полет продолжался двадцать минут — ровно столько, сколько это было продиктовано Астором.

На пульте машины вспыхнул красный предупредительный сигнал — локатор нащупал впереди стену. Астор повел свой мобиль на посадку. Деревья росли так часто, что машина с трудом протиснулась вниз сквозь густые ветви и повисла в каком-нибудь полуметре над коротким сухим мхом.

Астор вышел из мобиля.

Никогда прежде он не подходил так близко к стене. Она была рядом, шагах в трех-четыре, и последние деревья росли почти вплотную к ней.

Астор сделал еще два шага, подошел к самой стене, нечаянно оглянулся — и остановился, пораженный: последний ряд деревьев, ближайший к стене, не имел другой стороны. Если смотреть с того места, где приземлялся мобиль, это были деревья как деревья, живые и объемные. Но от самой стены было видно, что это всего лишь половинки, срезанные невидимой вертикальной плоскостью, и срез этот не обнажен, а покрыт мутными лиловатыми натеками. Астор не удержался и постучал косточками пальцев по этому покрытию — раздался глухой стук, словно там, внутри половинки дерева, была пустота. Астор постоял еще немного, что-то соображая, пока не решил, что это уже деревья-макеты, вынесенные за пределы студии, вероятно, затем, чтобы настоящая растительность не пробивалась сквозь стену.

Но раздумывать было некогда. Там, за стеной, Стор уже прилетел, потому что в тех фильмах, которые снимаются на этой студии, время течет иначе, чем в жизни обыкновенных людей. Иногда течение это замедленно, и какие-нибудь полчаса из жизни героя дробятся на множество мелких и в раздробленности своей вроде бы незначительных эпизодов. Две силы, добрая пристальность — извне и безжалостная необходимость — изнутри, связывают эти осколки, и словно на огромных ладонях приближаются они к глазам зрителя, минуты выдуманной жизни, значимость которых помножена на замедленность действия.

Но чаще бывает иначе, и годы героев обращаются часами, и в этом не малость и мелочность этих лет, а всего лишь условия писательской задачи: вместить целую жизнь в краткий отрезок времени «от» и «до». И тогда время материализованных героев...

«Вот те на, — удивился Астор, — как же это у меня сорвалось? До сих пор я называл их живыми людьми. И только теперь, очутившись перед этой стеной, я механически использовал непривычный термин: материализованный герой. Нет. Это не так. Это живые люди, необычные только в одном-единственном. Они необычны тем, что всецело подчинены автору. Хотя нет, не всецело. Уж сколько раз бывало так, что автор, создавший тот или другой образ, вдруг чувствовал, что герой вырывается из его подчинения, что слова и поступки, диктуемые ему, для него органически неприемлемы. Бывает даже так, что автор вдруг сознает: рожденный воображением герой заставляет его послать к чертям задуманный и отработанный сюжет, и автор принимает это и подчиняется выбору своего детища. Разумеется, если это чуткий автор. Но есть и такие, которые, несмотря ни на что, продолжают заставлять своих героев совершать противоестественные, не совместимые с их образом поступки, и это обычно бывает последним произведением таких авторов — их лишают права быть На-

стоящими Писателями и закрывают им доступ на студию.

То, что собирался сейчас сделать Астор Эламит, тоже каралось лишением всех прав Настоящего Писателя, но Астор не мог ничего поделать, потому что Стор был ему дороже самого себя. Он должен был спасти его, не думая ни о расплате за свой поступок, ни о том даже, нужно ли это самому Стору. Он был должен. Должен...

Астор сделал несколько шагов вперед и остановился так близко от стены, что еще полшага — и его лицо погрузилось бы в ее студенистую массу. Щеки чуть покалывало, словно перед ним висело тело огромной дымчатой медузы. В эту стоячую мусть он должен был войти... Снова — должен.

Но почему ни разу, до самого этого момента, он не спросил себя: а может ли он это сделать? Как будто это было нечто само собой разумеющееся. Он многое знал о студии, он знал все — или думал, что знает все, — о тех, кто волей Настоящих Писателей получает право жизни в стенах этой студии, и жизнь эта нередко ярче и поступки гораздо результативнее, чем в жизни обыкновенных людей. Он повторял себе это сотни раз.

Но что он знает о стене? Только то, что за прохождение на ту сторону он заплатит правом создавать живых людей. Но и это не знание, а всего лишь догадка.

Почему он не знает, что такое стена? И главное — может ли он, смеет ли он пройти через нее?

Он стоял, ожидая, что где-то внутри его отыщется ответ. Но ответа не появлялось, и вместо него в сознании Астора четко обозначился провал, пустота беспомощности, как после обморока, а потом он почувствовал, что стремительно растет ощущение невозможности, запретности того, что он собирался сделать, и, не позволяя себе подчиниться этому, Астор протянул вперед руки, как ходят люди в тумане, и вошел в дымное тело

стены. Какое-то мгновение он ничего не видел, но затем дым разом исчез, и Астор почувствовал себя в какой-то удивительной кристальной пустоте. Тонкая серебристая пленка под ногами — и абсолютно ничего вокруг. Почему-то он подумал, что в таких случаях люди должны испытывать ужас; но было одно лишь недоумение, и Астор быстро пошел вперед, все еще протягивая перед собой руки, и через несколько шагов снова попал в полосу неизвестно как возникшего дыма, и снова этот дым рассеялся, а Астор понял, что он уже на той стороне.

Вот и все, сказал он себе, и это совсем просто. Значит, человек практически может пройти сквозь стену, но это карается отлучением от любимой работы — что ж, цена немалая. А как же биороботы? Могут ли они пройти сквозь стену? Не проще ли было бы приказывать Стору выйти к нему, в мир людей?

Почему-то это раньше не пришло ему в голову. Наверное, это невозможно. Наверное. Опять эта странная неопределенность, провал в сознании. Почему он не знает о своем Сторе такую важную вещь?

Мысль о Сторе вернула его к действию. Не время рассуждать. Он на студии, на запретной территории. Сейчас ему нужны только быстрота и неуловимость. Только встретить Стора, а там видно будет, как поступать. Тогда и можно будет выяснить, может или нет биоробот пройти сквозь стену. Стену, сквозь которую он прошел, но ничего про нее толком не узнал.

Астор пошел вперед, отыскивая то место, которое он сам описывал дважды в своей повести, но пока ни корявого пня, ни Стора, обязанного сидеть на этом пне, он не находил.

Ему стало не по себе. Хотя что там — не по себе! Стало так страшно, как бывало в детстве, когда стремительно проваливаешься в бездонную яму, и упругая невидимая масса продолжает расступаться перед тобой, и ты все падаешь и падаешь...



Астор понял, что это не то место.

Не появилось даже желания куда-то побежать, закричать, позвать. Бесполезно. Площадь студии — не одна сотня квадратных километров. И куда бежать, — направо? Налево? И откуда у него была эта уверенность, что он выйдет точно к тому месту, где будет ждать его Стор? Откуда он знал, что пройти сквозь стену надо именно здесь?

Странно, но такая уверенность раньше была. А теперь не было ничего, ровно ничего, даже желания вернуться. Астор тяжело качнулся и, ломая кусты, пошел куда-то вбок, напролом, скользя на сухих проплешинах, усыпанных прошлогодними иголками. И, только выйдя на лысый пригорок, залитый солнцем, остановился, потому что прямо перед ним, полузакрыв глаза, словно греясь на солнце, сидел старик.

«Вот и влип, — тоскливо подумал Астор, — влез на занятую площадку в остро психологический момент, и все невидимые камеры работают на крупный план. Как-ких-нибудь пятнадцать минут — и отснятый кусок обработают, и кибер-корректор автоматически поднимет тревогу, потому что в кадре обнаружится посторонняя фигура. И все».

Астор посмотрел на старика. Удивится ли он, встретив незнакомца? А вдруг старик из другого времени? Может быть, действие в повести, которая разыгрывается здесь, происходит лет пятьдесят тому назад? Глухой черный костюм незнакомца ни о чем не говорил.

Но старик просто, без тени удивления, даже с каким-то удовлетворением смотрел на подходившего. Смотрел уже давно, наверное, с самого начала, только Астор не обратил на это внимания.

Астор подошел еще ближе.

— Присаживайтесь, — сказал старик и чуть подвинулся на стволе поваленной сосны, хотя места было и так достаточно. Астор медленно перенес ногу через ствол и сел верхом, и рыжие, нагретые солнцем плас-

тики коры посыпались вниз, словно чешуя большой золотой рыбы. «Вот они какие, — думал Астор, беззащитно разглядывая старика, — вот они — те, которых мы создаем сомнительной силой нашего воображения. Мы видим их потом объемными, чертовски достоверными фигурами на стереоэкране. Но вот такими, из плоти и крови, мы не встречаем их никогда. Это промежуточный процесс, изъятый из акта творчества. И наверное, так и надо, потому что, повстречавшись один раз со своим героем вот так, как я сейчас сошелся с этим стариком, автор уже не в силах будет заставлять его жить, и думать, и чувствовать, и все прочее. Для технического персонала студии — для биоконструкторов, нейропликаторов, операторов пси-связи — они всегда остаются лишь сценическими биороботами, дистанционно управляемыми антропоидами без обратной связи. И только мы — может быть, даже не все, а немногие из нас — знаем, насколько же это люди».

Старик продолжал смотреть прямо перед собой, не поворачиваясь к Астору, и его маленькие старческие руки как-то по-особенному бессильно лежали на коленях. «Он еще старше, чем кажется, — подумал Астор. — И вообще, этого старика я где-то уже видел. Хотя нет, старика я видеть не мог — это же сценический биоробот, материализованный образ, черт побери! Но ведь у него может быть прототип. Определенно видел. Не в институте — там я его запомнил бы. Значит, в Союзе писателей. Собственно говоря, а что случится, если я возьму и спрошу, кто он такой?»

Астор собирался было открыть рот, но старик медленно повернулся к нему и проговорил:

— Ну, хорошо, тогда мне первому придется представиться. — Он пожевал губами, снова как-то грустно посмотрел вдаль, словно ожидая, что Астор прервет его и заговорит первым. Но Астор решил подождать. — Видите ли, я писатель. Это всегда как-то неловко говорить о себе. — Старик виновато улыбнулся, маленькие

ручки его беспокойно зашевелились. — Но я Настоящий Писатель. Хотя точнее было бы сказать, что я был Настоящим Писателем.

«М-да, — подумал Астор, — а ведь я тоже был».

— Я создал много книг, — продолжал старик. — Последние три мне разрешено было материализовать. Сейчас я пытаюсь понять: что же было самым главным, самым радостным в процессе создания настоящей книги? Рождение сюжета? Появление героя?.. Что дороже — первое появление его в твоём воображении или первая встреча с ним на стереозкране?

«Забавно, — подумал Астор, — забавно. Ведь он сейчас говорит со мною, посторонним лицом. Значит, весь этот монолог не авторский. Это мысли, независимые от воли того, кто создал этого старика. Даже страшно. Не забавно, а страшно».

— Точно так же я не знал, кто из всех рожденных мною героев ближе и дороже других. До недавнего времени не знал. Пока мне не пришло время расставаться с последним. И тогда я понял, что этот последний настолько близок и необходим мне, что расставание с ним, исчезновение его не только равносильно для меня собственной смерти — оно страшнее, потому что за ним идет пустота, в которой будет продолжаться мое бытие.

«Хлюпик ты, — в неожиданном ожесточении вдруг подумал Астор. — Ты гродишь человека, которого родил и провел по жизни. Ты шевелишь маленькими, ни на что не способными ручками, а тем временем его там дематериализуют. Не там — здесь. Это происходит здесь, на студии. Еще немного, и так будет с моим Стором. Оба мы хлюпики. Я ведь тоже ничего не сделал».

— В него я вложил самого себя, — монотонно продолжал старик. — Не такого, нет — немножечко лучше... и помоложе. Я не смог сделать его юным — наверное, об этом я уже разучился мечтать. Он был такой, каким я хотел бы сейчас стать, если бы возможно было

такое чудо, — средних лет, не гений, не мировая знаменитость, а просто человек, честно делающий свое дело. Но главное — я хотел передать ему всю свою боль, с которой создаешь героя и с которой уходишь от него...

«Я перестаю его понимать, — машинально отметил Астор. — Он сам писатель, и герой его писатель, выходит... Но ведь, черт побери, он же не настоящий человек, его же самого кто-то создал, ерунда какая-то, матрешка в матрешке...»

— Простите, вы не назвали себя, — сказал Астор.

— Я — Настоящий Писатель, — грустно сказал старик.

— Вы это говорили.

— Я — настоящий Настоящий Писатель.

Бред какой-то... Астор потер лоб, сморщился, как от боли... И тут до него дошло. Это же просто человек! Такой же человек, как и он сам! Он так же, как и Астор, перешел запретную границу, чтобы кого-то спасти. Теперь их двое. Вдвоем они еще что-нибудь придумают. Вдвоем они еще что-нибудь смогут.

— Ваше имя? — почти крикнул он.

— Кастор Эламит, — сказал старик.

Астор поднялся. Медленно перекинул ногу через ствол дерева, глянул на свои руки и спрятал их в карманы. Дымное марево стены, казалось, выступило из-за деревьев и поползло на них.

— Да... — сказал Астор. — Да... Это очень забавное... совпадение.

Старик не отвечал.

— Вы Кастор Эламит... Да. Но кто же тогда я?

И снова старик не ответил.

— И откуда я?

Старик молча смотрел на серую, теряющуюся в облаках стену. За этой стеной росли деревья, существующие лишь наполовину. Не росли. Они просто стояли, эти макеты. Растить может только живое. Не надо было никаких доказательств, никаких объяснений. Просто

нужно было вспомнить эти половинки деревьев, чтобы понять: студия была там, за стеной. А это — это был мир людей.

— Вы хотите, чтобы я сказал это сам? Хорошо. Биоробот. Антропoid без обратной связи, созданный по образу и подобию автора. Точно так же, как я сам творил моего Стора. Немного моложе и немного... лучше. Так? И ваше имя, которое вы укоротили на одну букву.

Все равно это было невероятно. Особенно тогда, когда произносилось вслух. Мысль о том, что ты всего лишь робот, страшна. Но, произнесенная вслух, она становится просто нелепостью, и нужно только говорить, говорить, говорить, чтобы в звучании слов нелепость их смысла выкристаллизовалась бы с максимальной яркостью.

— Значит, тот мир, в котором я жил до сих пор, — это мир декораций, имитированных звуков, материализованных образов? Мир макетов и заранее отснятых кадров? Мир несуществующих расстояний и высот? Мир не бывшего никогда детства, придуманной за меня любви?..

Он остановился. Рика. Его Рика и невозможность прожить хотя бы один день без того, чтобы не увидеть ее...

— Значит, и Рика была ненастоящая? — спросил он шепотом.

— Да, — сказал старик. — Я дал тебе то, о чем мечтал сам, — все равно какую, но только юную, совсем юную, до неправдоподобия юную, и ничего, только видеть, видеть один раз в день...

— Так, — голос Астора был спокоен, удивительно спокоен. — Видеть один раз в день. Значит, и это было ваше. Моего не было ничего. Да, конечно. Теперь я припоминаю. Чужие слова. Я говорил ей чужие, нелепые слова. А что же было мое? Хоть что-нибудь было?

— Астор, — сказал старик так, как обычно говорят

«Астор, детка», — с той минуты, как ты вышел оттуда, ты перестал быть моим.

— Благодарю, — сказал Астор. — Благодарю за пятнадцать минут ничейного состояния, которых мне не хватит даже для того, чтобы стать самим собой. Только зачем вы это сделали? Уж вы-то, как никто иной, знали, что пропажа биоробота не может остаться незамеченной, даже если ему и удалось каким-то чудом проникнуть в мир людей. Меня будут искать и, я думаю, найдут без особого труда, и что тогда? Дематериализация на месте, без суда и следствия? Или как тут у вас, у людей, поступают с роботами, обретшими свободу воли?

— Не надо, — попросил старик, — не надо так, Астор.

— Простите меня, — сказал он. — Минутное любопытство. Все равно мне нужно возвращаться, а завтра — эксперимент, мой последний эксперимент, который придумали вы, но участвовать в котором буду я. Ведь так?

— Да, — кивнул старик, — это будет завтра. Перед тем как прийти сюда, я закончил книгу.

— Спасибо. Постараюсь сыграть как можно правдоподобнее.

— Не надо бравировать, мой мальчик. Не старайся казаться немножко лучше меня. Довольно и того, что ты моложе.

— Лучше... — Астор услышал собственный смех. — Какого черта вам понадобилось вытаскивать меня на эту сторону? Пусть случилось бы то, что вашей волей должно случиться завтра, но зачем мне знать, что я — как это называется у нас, у Настоящих Писателей, — что я всего лишь сценический биоробот, антропид с дистанционным управлением?

— Да, — тихо, почти про себя проговорил старик, — видимо, это неизбежно. Я вложил в тебя не только собственную душу, но и все то, чего, казалось бы, не хва-

тало мне до абсолютного совершенства; и все-таки ты оказался как-то меньше, слабее меня самого.

— Простите, — просто сказал Астор. — Мне пора в мое завтра. И, если это можно, разрешите мне еще немного побыть... самим собой.

— Мой мальчик, — старик тяжело поднялся и встал рядом с Астором, — ты забываешь, что время... — он запнулся, — тех, кто находится за этой стеной, течет немного быстрее, чем время людей. Завтра Астора Эламита должно наступить через двадцать минут.

— Вот как, — сказал Астор. — Надо торопиться. Мне полагается быть в институте?

— Да, конечно... — старик грустно улыбнулся, — это был простейший выход.

— Не выдержит защита?

— Да, мой мальчик...

— Значит, аннигиляция... До чего банально, черт побери! Вы же физик, если я не ошибаюсь?

— У меня не было времени ни на что другое, Астор. Ты, знаешь, что Настоящий Писатель не имеет права оставить свою книгу недописанной. А я — я очень стар и болен, и вот наступило время, когда кибер-анализатор не нашел ни одного способа задержать развитие болезни. Я пришел к тебе, пока у меня еще есть для этого силы. Я должен был распорядиться твоей судьбой, и я это сделал. Прощай, мой мальчик.

Он поднял свои маленькие, легкие руки и несколько церемонно опустил их на плечи Астора. Недолгое время они так и стояли, потом Астор бережно взял эти руки, тихо, словно боясь причинить боль, пожал их и опустил.

— Ну, я пойду, — сказал он.

— Ты так и не понял меня, мой мальчик. Туда пойду я.

— Куда? — растерянно спросил Астор.

Старик улыбнулся, словно хотел сказать — туда, детка, — и пошел к стене, дымным маревом виднеющейся за последними деревьями.

— Нет, — сказал Астор и загородил ему дорогу. — Нет, нет.

Старик подошел к нему вплотную, и Астор схватил его за плечи.

— Осталось меньше двадцати минут, — спокойно проговорил старик. — Я не просто физик, я один из тех, кто создавал студию, кто возводил ее стену и программировал ее роботов. Это позволило мне на недолгий срок расстроить фокусировку съемочной и наблюдательной аппаратуры. Благодаря этому ты смог выйти отсюда, и, когда вместо тебя туда вернусь я, это не будет замечено. Но общий ход действия моей книги уже продиктован, изменить его невозможно. Кто-то должен вернуться и доиграть до конца.

— Это буду я, — сказал Астор. — И не заставляйте меня применять силу.

— Да, я сделал тебя моложе и сильнее себя. — Старик вскинул голову и посмотрел прямо в глаза Астору. — Но я человек, и ты не сможешь встать на моей дороге.

Он стряхнул с себя руки Астора и пошел к стене, стараясь держаться как можно прямее. Астор смотрел ему в спину, не смея двинуться с места, и мысли его путались, стремительно сплетаясь и превращаясь в аморфную массу, и из всей этой массы никак не могла выкристаллизироваться одна, та самая необходимая и единственная, которая дала бы ему право остановить старика. Но Астор всем нутром чувствовал, что такое право у него есть, ускользает только основание, и тут старик, дошедший до последнего ряда деревьев, оглянулся и громко сказал:

— Прощай, Астор Эламит!

И Астор вспомнил.

— Стойте! — закричал он и бросился к старику. — Я не могу отпустить вас вместо себя — у меня есть еще мой Стор.

Старик удивленно посмотрел на него.

— Теперь я понимаю, почему я не встретил его здесь, — продолжал Астор. — Ведь это мир людей, а он всего лишь биоробот. Значит, он там, на территории студии, и туда вернусь я, чтобы найти его. Ведь это единственное, что есть у меня.

— Нет, — сказал старик, — у тебя нет твоего Стора. Он тоже мой, как и детство, которое ты помнишь, как законы физики, которыми ты пользуешься, как необходимость видеть Рику... Он не твой.

— Правда. Выдумали все это вы. Даже Стора. Повинуясь вам, я разыгрывал Настоящего Писателя и творил живых людей. Но моей была боль за него. Боль принадлежит не тому, кто создает, а тому, кто теряет.

— Ты знаешь только отголоски той боли, которую выстрадал я, думая о тебе.

— Ну и черт с ней, если она не моя! Забирайте себе все! Все! Некогда торговаться. Отдаю вам все, что было. Но то, что будет, те несколько минут, которые остались до взрыва, — они мои, потому что если туда пойдете вы — что вы сделаете для Стора?

— Ничего, — спокойно сказал старик.

— А я сделаю! Все, что успею. Я найду его...

— Ты не найдешь его, потому что он попросту не существует. Между ним и тобой та разница, что ты материализованный герой, а он нет. Он живет только на бумаге и в твоём воображении.

— Так, — медленно проговорил Астор. — Последняя матрешка оказалась пустой. Внутри — ничего. Но как жить в этом мире, как жить в любом мире, если внутри — ничего?

— Мой мальчик, еще не прошло и часа, как ты стал настоящим человеком. Но все, что ты пережил за это время, уже твое. И все, что будет, когда я уйду, тоже твое. Я оставляю тебе свое имя и свое право пользоваться студией. У тебя еще нет своего Стора. Но ты можешь создать его.

Астор молчал, потрясенный.

— Но если ты захочешь спасти этого Стора — своего Стора, — помни: сценические биороботы не могут перейти границу, чтобы выйти в мир людей. Киберкорректоры, проверяющие весь материал, поступающий на студию, просто не пропустят такого приказа. А если по какой-нибудь оплошности и пропустят, то ни один биоробот такого приказа не примет и ему не подчинится. Так уж они запрограммированы.

— А я? — растерянно проговорил Астор.

— Вспомни, куда ты шел: ты хотел попасть не в мир людей, а тоже в мир вымышленных героев. Ты должен был встретиться не со своим творцом, а с собственным творением. Если бы текст моей последней передачи проверяли люди, они наверняка поняли бы мою уловку. Но киберов мне удалось провести. Запомни этот единственный выход, я нашел его только потому, что когда-то сам проектировал и создавал зону заграждения студии. Человеку бесполезно переходить эту границу: кибер-наблюдатели не позволят ему встретиться ни с одним биороботом. Запомни этот единственный вариант. А расстроить фокусировку ты сможешь, потому что в тебя вложен весь тот комплекс знаний, которым обладал я, — ведь ты тоже по утрам был просто физиком.

Астор кивнул.

— И не торопись. Не комкай. Не чувствуй себя обязанным. Лепи своего Стора только любовью и болью. Это единственные чистые составляющие, все остальное ненастоящее. Не дорожи им только потому, что он твой. Он должен стоять того, чтобы прийти за ним. И когда ты поймешь, что он действительно этого стоит, — ты знаешь, как его спасти.

Еще некоторое время они стояли молча, просто глядя друг на друга. Потом старик сделал шаг назад и исчез в дымной толще стены.

Астор ждал. Затаенные шорохи вечернего леса обступали его, и он напрягался изо всех сил, чтобы уло-

вить то, что делается на той стороне. Оттуда не доносилось ни звука. Астор все ждал. Странное воспоминание всплыло как-то подсознательно: а ведь на той стороне лес никогда не шумел... Он качнулся, словно это воспоминание мягко толкнуло его изнутри, и пошел прочь, пошел все быстрее и быстрее, не оглядываясь, потому что место это он запомнил на всю свою человеческую жизнь, чтобы отыскать его сразу и безошибочно, когда наступит время сюда вернуться.

СОНАТА УЖА

Над Щучьим озером стлался зеленый туман.

С того последнего раза, когда Тарумов был здесь с белой лебедушкой Анастасией, оно обмелело до неузнаваемости, и лобастые, крытые зеленым плющом валуны, на которые так больно было наткаться в воде, выползли теперь на берег, но в тумане не сохли — тянулись вдоль самой кромки воды цепью темно-зеленых болотных кочек.

Тарумов приподнялся, опираясь на руки, и пальцы его заскользили по длинным, словно женские волосы, нитевидным водорослям. Дотянуться до глинистой желтовато-непрозрачной воды было нетрудно, но пить не хотелось. Смешанный запах грушевой эссенции и рыбьих потрохов — надо было умудриться так потравить озеро!

Непонятно и небезынтересно.

Но главное — как он-то сам попал сюда? Ну, летел бы вертолетом, гробанулся — так помнил бы все, что предшествовало падению. И откуда летел. И кто его должен был здесь ждать. Действительно, кто? Анастасия на Ганимеде, и надолго...

Нет, ничего не припоминалось. Сергей задумчиво наклонил голову, и только тут взгляд его остановился на собственных руках. Даже нет, не руках — рукавах.

Как и следовало ожидать, на нем был летный комбинезон.

Но обшлага разорваны, на запястьях ни часов, ни биодатчиков. Он машинально потянулся к поясу — инструкции он читал и в полете никогда не расставался с легким брезентовым ремнем, на который крепились портативный многощупальцевый манипулятор с одной стороны, а с другой — мелкокалиберный десинтор, достаточно мощный, впрочем, для того, чтобы при надобности вырезать заклинившийся титановый люк.

Пояса тоже не было.

Он плохо помнил, что именно должно было лежать в его карманах, но и оттуда исчезло все, кроме двух-трех бумажек. Даже нагрудный знак почтальон-инспектора сверхдальних секторов и тот был выдран с мясом. Нетерпимый к любому беспорядку в одежде, Тарумов брезгливо оглядывал себя: да, кто-то потрудился над ним на славу. Пластмассовые застёжки-«молнии» не привлекли внимания грабителя, но запонки, металлический колпачок фломастера и даже пистоны на ботинках — все исчезло.

Это не то чтобы удивляло — это ошеломяло.

Между тем туман пришел в движение. Он не клубился, не таял, как это бывает при слабом ветре — он медленно отодвигался единой массой. Тогда обнаружилось, что левая кромка озера изгибалась, образуя стоячую гнилую бухточку, и на том ее берегу круто вздымалась не то насыпь, не то стена, покрытая, как и берег, сплошным ворсом влажных водорослей.

Туман отступал все дальше, являя взору замшелые замковые ворота, легко вскинувшийся виадук на почти невесомых опорах, приземистую башню, напоминающую не то старинное сооружение для силосования кормов, не то огромную шахматную туру...

И на всем — приметы многовековой заброшенности.

Ну, теперь ясно. Не Щучье это. И вообще — не земное озеро. Брякнулся на какой-то шарик, даже не озна-

ченный в космических регистрах. Автоматы посадили, а выбрался он почти в бессознательном состоянии, теперь он начинал припоминать. Прежде чем окончательно прийти в себя на этом берегу, побывал в чьих-то руках. Кажется, так...

Стена тумана стремительно откатывалась все дальше и дальше, обнажая поверхность озера и безлюдные берега, и Сергей уже раздумывал, в какую сторону ему податься на розыски своего корабля — ведь должен же, черт побери, быть где-то поблизости его «почтовый экспресс»!

И тут из тумана поднялось нечто, озадачившее даже его, повидавшего не одно чудо на тех пяти или шести десятках планет, куда заносила его беспокойная должность космического почтаря.

Прямо из воды вздымалась гладкая зелено-клетчатая колонна, напоминавшая одновременно минарет затопленного храма и шею доисторического диплодока, тщетно пытающегося дотянуться своей непропорционально маленькой головкой до невидимого солнца. Колонна действительно венчалась странным сооружением, которое с большой натяжкой можно было бы назвать головой и даже разглядеть на ней глаза, следившие за человеком в рваном комбинезоне с бесстрастным и неусыпным вниманием.

И с того мига, как Тарумов поймал этот взгляд, зоркие мертвые глаза не упускали его больше ни на час, ни на мгновение.

Кажется, на этом унылом берегу царил вечнозеленый день. Мутноватое небо, изжелта-зеленое, не меняло своего оттенка, хотя с того момента, когда он пришел в себя, минуло часов шестнадцать. Чувство времени у Тарумова было развито очень остро, но если так будет продолжаться, то он потеряет счет дням. С расстоянием тоже обстояло неважно — он шел и шел, с трудом

вытягивая ноги из влажных длинноворсовых водорослей, и старался обмануть себя, не оглядываясь по получасу, но когда он все-таки оборачивался, то оказывалось, что он продвинулся едва-едва на сто метров. Сейчас насыпь и башня-тура уже сливались с холмистым берегом, но «зрячий минарет» отчетливо проступал над гладью озера.

Хуже всего при ходьбе приходилось шнуркам — они рвались уже десятков раз. Тогда приходилось ложиться на живот и, разгребая эту, с позволения сказать, траву, выискивать где-то в глубине ботинок. Когда этот периодически повторяющийся процесс осточертел Тарумову до предела, он выбросил шнурки и, надрвав изумрудных «волос» (порвать их посередине было практически невозможно — резали руку; но поодиночке они легко выдирались с корнем, как конский волос), он сплел себе новые шнурки.

Устал он смертельно. Темные холмы с геометрически правильными дугами не то песчаных обрывов, не то арочных входов в какие-то светящиеся пещеры, до которых он стремился добраться, были все еще на доброй половине пути от озера. Без отдыха он не дойдет. Надо ткнуться носом в первую же кочку посуше и часок-другой подремать. Кто знает — может быть, после сна в голове что-нибудь и прояснится и он припомнит хотя бы зону Пространства, где с ним это приключилось.

Он устроился поудобнее между кочками, зажмурился — уж очень мешал немигающий взор далекого стража — и мгновенно заснул, как мог заснуть только космолетчик, побывавший за свою долгую жизнь не в одной передрыге.

Проснулся он от того, что в бок его толкали — легонько, словно огромный страусиный птенец неуклюже пристраивался к нему под крылышко. Еще не до конца сознавая, где он и что с ним, Сергей инстинктивно ото-

двинулся, но с другой стороны к нему прижимался еще кто-то — теплый, подрагивающий. Тарумов резко приподнялся и сел, подтянув колени к подбородку, — два черных свернувшихся клубка лениво зашевелились и, не развернувшись, подкатились к нему и снова пристроились слева и справа.

Пинфины? Откуда?

Планета, на которой они сейчас находились, даже отдаленно не напоминала краснотравные саванны обиталища пинфинов — Земли Ван-Джуды. Это он сообразил даже спросонок. Значит, пинфины здесь тоже не по доброй воле.

Или не значит?..

Пинфины, насколько помнил Сергей по двум пребываниям на Земле Ван-Джуды, были отчаянными сонями, и ждать их пробуждения было бы бессовестной тратой времени. К тому же звуковая речь этих маленьких гуманоидов, добродушных, как дельфины, и неповоротливо-куцерикух, так что издали они казались пингвинами-аделями, лежала в области ультразвука, и еще неизвестно, умела ли эта пара пользоваться той примитивной азбукой жестов, которая самопроизвольно возникла в процессе их общения с землянами (возникла гораздо раньше, чем лингвисты Земли удосужились смоделировать научно обоснованный вариант языка-посредника, доступного обоим цивилизациям).

Так что в целях экономии времени разумнее всего было бы взять этих сонь на руки и продолжать свое восхождение к светоносным пещерам. Да, но ведь есть еще и кто-то четвертый...

Четвертый?

Тарумов невольно поискал глазами среди волнистых зеленых сугробов, но ничего не обнаружил. Тем не менее присутствие этого постороннего он чувствовал как бы всей своей кожей.

Он оттолкнулся от пружинящих кочек и поднялся. Острая резь в затекших ногах — этого еще не хватало!

Неужели поранился? Сергей с тревогой осмотрел ноги — да нет, ерунда. Травяные шнурки, сплетенные перед сном... Высохли, укоротились и стиснули ноги.

Тарумов ослабил шнурки и выпрямился. Далеко позади тускло освещивало озеро, из которого торчала не то непомерно вымахавшая камышина, не то вышка для прыжков в воду. Было в этой каланче что-то напряженное, полуживое, полуокостевшее. Вот он, чужак. Ну ну, гляди. За погляд денег не берут, как говаривали в те времена, когда на Земле водились деньги. Он нагнулся и бережно поднял два пушистых теплых шара. Пинфины не шелохнулись — не то действительно спали, не то притворялись.

Он шагал еще медленнее, чем до отдыха, оберегая своих непрошенных пассажиров и стараясь не потерять равновесия. Со стороны, вероятно, он был похож на журавля. Местность слегка подымалась, светлые пещеры располагались на склоне, уходящем в неистребимый зеленоватый туман. Справа этот склон образовывал гигантские уступы, правильная кубическая форма которых не оставляла сомнений в их рукотворном происхождении. Дышать стало чуть труднее, хотя по отношению к уровню озера он поднялся едва ли на пятьдесят метров. И еще хотелось есть.

Когда он подобрался наконец к первой пещере, руки его совершенно онемели. Так нельзя. Должен был бы подумать о том, что в пещере может оказаться какая-нибудь невидаль. А он, между прочим, безоружен. И пинфины ведут себя как-то странно — летаргия у них, что ли?

Но пинфины вели себя как нельзя более естественно, он просто забыл об их привычках. Когда он вплотную подошел к широкой арке, из-под которой струилось ровное золотистое свечение, пассажир, оседлавший его правую руку, мягко развернулся и требовательно ткнул крошечным пальчиком по направлению к той пещере, которая виднелась метрах в ста справа. А затем смуг-

лая ручка и блестящие лемуры глаза снова исчезли внутри черного клубка.

— Что, еще и туда? — возмутился Тарумов, спуская пассажиров на травку. — Бог подаст, как говорили у нас в те времена, когда на Земле еще водились боги. Пошли, пошли ножками!

Пинфины подняли на него темные печальные личики, и Тарумову невольно припомнилось, что кто-то образно назвал эти существа «обиженными детьми Вселенной». Ван-Джуда и вообще-то была дрянной планетой, а для таких крох она и вовсе не годилась. Земляне, едва установив с аборигенами контакт, тут же предложили пинфинам перебраться на соседнюю планету, гораздо более уютную и плодотворную. В распоряжение «обиженных детей» было предоставлено несколько разведочных планетолетов, но природный консерватизм не позволял пинфинам сдвинуться с насиженного места. Несколько совместных экспедиций с землянами они предприняли, но все дальнейшие шаги сводились к многолетней всепланетной говорильне — перебираться или не перебираться?

До чего они договорились, Тарумов не знал, но вот то, что пара пинфинов очутилась здесь, ему очень и очень не понравилось.

Из этого состояния крайней неудовлетворенности его вывел высокий пинфин — даже можно было бы сказать «пинфин-великан», потому что он доставал Сергею до бедра. «Ты всегда носил нас, когда мы были голодны, — показал он на своих почти черных человеческих пальчиках. — А пещера с едой вон там!»

Малыш знал язык жестов, это прекрасно, но откуда эта иллюзия давнего знакомства?

— Я здорово устал, ребятки, — проговорил Сергей и тут же, спохватившись, перевел это простейшими средствами пантомимы — и как это ему повезло, что он дважды побывал на Ван-Джуде!

«Хорошо, хорошо!» — дружно согласились пинфины

и резко покатились вперед — как успел заметить Тарумов, они сжимали ступню в комок и на этих пушистых подушечках, совершенно не путаясь во мху, передвигались несравненно легче, чем тяжеловесный землянин.

Тарумов из всех сил старался не отставать. Кстати, кое-что следовало бы узнать еще до того, как они сунутся в пещеру.

«Кто еще живет в этой пещере?» — старательно объяснился он жестами, больше всего боясь быть неверно понятым. Но пинфины разом остановились и захлопали глазами, выражая крайнее недоумение. Надо сказать, что делали они это с той степенью выразительности, на какую было неспособно ни одно другое существо во Вселенной. Дело в том, что эти малыши от природы были чрезвычайно дальнорезки, и эволюция наградила их, кроме непрозрачных кожистых век, еще и тремя роговыми прозрачными подвеками, которые в силу надобности опускались на глаза и служили естественными очками. Так что когда пинфины начинали «хлопать глазами», зрелище было впечатляющим — особенно для новичка. Но Тарумов новичком не был. «Кто там живет?» — повторил он вопрос.

«Ты сам запретил всем нам жить в пещере с едой!» Гм, а он, оказывается, пользовался тут правом вето.

«Где же живут тогда все?» — машинально задал он вопрос, не отдавая себе отчета в том, что он вкладывал в понятие «все».

«Пинфины живут правее, а выше живут...» — жест означал нечто волнообразное; последнее сообщение рождало надежду на то, что эти синусоидальцы и могут наконец оказаться аборигенами, с которыми он рвался встретиться.

Но это было не все. «Под кубической скалой живут... (ручки обрисовали несколько пухлых окружно-

стей), а в травяных шалашах возле сумеречного пика обитают невидящие».

Много... Слишком много для аборигенов. Хотя — почему же? А если все это — здешний животный мир — ужи, кроты...

Нет. Пинфины не поставили бы их в один ряд с собой. Для этого они слишком рассудительны. Те, что живут в светящихся пещерах, — не коренные жители этой планеты-зеленушки. Это самоочевидно. Тогда кто они? Разумные существа, спасенные во время катастроф, приключившихся с их кораблями?

Или попросту пленники?

«Как вы попали сюда?»

Маленький пинфин, не принимавший участия в разговоре, но все время застенчиво поглядывавший на Сергея снизу вверх, испуганно шарахнулся в сторону и спрятался за своего товарища.

«Мы полетели... большой корабль. Очень большой. Ваш самый большой корабль. Вы научили. Вы послали — попробовать... чужой мир. Пролетели половину. Дальше — темно...»

Пинфин в отчаянье замахал смуглыми пальчиками, исчерпав все известные ему жесты. Но Тарумов уже все понял. Им трудно было решиться на такое путешествие, и в то время, когда он гостил на Ван-Джуде, еще было неясно, поднимутся ли они хотя бы на исследовательскую экспедицию. Им для этого хватало всего — и уровня культуры, и знаний, и умственного развития среднего пинфина — не говоря уже о таких индивидуумах, как этот... горе-путешественник. Недоставало им одного — жадного, инстинктивного стремления к еще не открытому, непознанному, что всегда отличало людей и поэтому самим людям казалось неотъемлемой чертой всех высших разумных существ Вселенной.

Пинфины были робки. Но, как видно, не все — эти вот полетели...

«Сколько же вас было?» — «Семеро. Но двое уже... исчезли».

Исчезли? Удрали? Погибли? Схематический язык жестов, которым оба владели далеко не в совершенстве, делал эти понятия неразличимыми. А ведь от выяснения этих тонкостей могло зависеть многое... если не все. Ладно. Тонкости — на завтра.

«А где жил... живу я?»

Это ему показали.

Маленькая, идеально правильная полусфера. Такое не могли сделать лапы — только руки. Порода осадочная, тонко-зернистая, люминесцирующая. Впрочем, люминесценция может быть и наведенной. Не это главное. Главное — охалка сухого мха, по-видимому, служившая постелью, невероятной плотности циновка (ах да — здешняя трава, высыхая, сжимается вдвое), и под этим импровизированным одеялом — перчатки.

Обыкновенные синтериклоновые перчатки для механических работ, какими Тарумов страсть как не любил пользоваться. Только вот металлические кнопки на краях выдраны с мясом. Это из синтериклона-то! Но в остальном — заношенные старые перчатки, с некрупной, но широкой руки. В них много работали. Здесь? И здесь тоже — рвали длинноволосый мох-траву. Это видно невооруженным глазом. Тарумов обернулся к своим спутникам, присевшим на пороге, и у него невольно вывалось:

— А где же... он?

Недоуменное мельканье прозрачных и непрозрачных век. Он спросил вслух — надо было перевести. Надо было показать на пальцах — где, мол, тот, что жил здесь до меня и которого вы из-за своей наивности, а может быть, и просто невероятной дальнзоркости отождествляете со мной? Что с ним? Погиб? Исчез? Сбежал?

Нет. Он был человеком, а значит, не мог сбежать, оставив их одних. Если был человеком — не мог.

Тарумов не стал переводить свой вопрос.

Два бугорчатых «грейпфрута» — один выдолбленный, с водой, а другой спелый, с сытной мякотью, болтались у него за пазухой и отчаянно мешали. Он карабкался по зеленому склону, который становился все круче и круче, и все мысли его были заняты только тем, как экономнее и рациональнее выполнять каждое движение. От малейшего толчка в голове возникали снопы обжигающих искр. Воздуха! Почему так не хватает воздуха?

Он поднялся еще на какие-нибудь двести метров — и желтое озеро уже мертво поблескивает внизу! Каланча выросла еще больше, но все равно отсюда она кажется тоненькой тростинкой, которую совсем не трудно переломить. Но вот ощущение пристального взгляда нисколько не ослабевает. Или это самовнушение? Не думать об этой странной каланче. Не думать и больше не оборачиваться — на то, чтобы повернуть голову, уходит недопустимо много сил. А они — последние. Если он потеряет сознание прежде, чем доберется до перевала, он повторит судьбу своего предшественника, исчезнувшего где-то в этих замшелых уступах, за которыми кроется нечто зловещее.

Надо сделать последнюю остановку. Еще метров пятнадцать до маленькой седловины между двумя вершинами, которые снизу, от озера, казались головами уснувших великанов. А может, и не пятнадцать — здесь он постоянно ошибался в расстояниях. Да и туман сгущается с каждым пройденным метром, он уже стал почти осязаемым. Атмосферный планктон? Сергей вжался в травяную массу, заполнявшую щель между двумя камнями, нашарил за пазухой булькающий «грейпфрут». Достал фломастер и точным ударом пробил дырочку в твердой огненно-красной корке.

Вода, которая скапливалась в середине еще неспелого плода, поражала своей росной чистотой и тем не менее оказывала сильнейшее тонизирующее воздействие.

Спелые плоды воды уже не содержали — их заполняла белковая сердцевина, кроющаяся под невзрачной грязно-лиловой шкуркой. Она могла бы украсить стол античных привередливых богов. Но это — на обратный путь. Вообще-то «грейпфрутов» в низине масса, их раскапывают в траве полюгалы — сомнительно разумные пресмыкающиеся с Земли Кирилла Полюгаева. Сергей раньше не встречался с ними и, естественно, языка их не знал, да и теперь детальное знакомство со всеми обитателями этой замшелой долины он отложил до конца своей разведки. Сейчас важнее выяснить, где они и на каком положении.

Он выпустил из рук опустевшую кожуру, и она бесшумно покатилась вниз, почти не приминая длинноволосой, никогда не шевелящейся под ветром растительности, которую Сергей так и не решил, как называть — то ли травой, то ли мхом, то ли водорослями. Она покрывала в этой долине абсолютно все, кроме сухой, светозарной поверхности пещер; сейчас, карабкаясь по склону, который все круче и круче забирал вверх, Тарумов вдруг понял, что поверхность камня под этой зеленью почти повсеместно носит следы прикосновения чьих-то рук: под травяным покровом угадывались то пологие ступени, то идеально обработанная параболическая вогнутость, а то и сидящие рядом, словно древние исполины Абу-Симбела, надменно выпрямленные фигуры, которые он из осторожности определял как условно человеческие.

Но и это на потом, а сейчас главное — добраться до края этой каменной чаши, на дне которой — озеро с мертвоглазым стражем. Добраться и заглянуть за этот край.

Сергей давно уже не карабкался, а полз, ужом извиваясь в нагромождении тупых глыб. Седловина была в двух шагах, а за ней — неминуемый спуск, и там либо совершенно незнакомый мир, либо такая же колония пленников со всех уголков Вселенной. Доползти. Загля-

путь. Черт побери, зачем он выбросил пустую кожуру — надо было написать записку пинфинам, которые ждут его внизу, боязливо поджав человеческие ручки. Но возможность упущена. И потом, знают ли они земной алфавит?

Надо доползти, и надо вернуться.

Эти два последних метра он полз уже с закрытыми глазами. Пальцы нащупали впереди изломанную кромку, едва прикрытую мхом — тонкую, не толще черепицы. Он вцепился в нее, попытался шатнуть — нет, прочно.

Подтянулся.

Перевел дыхание и только тогда позволил себе наконец открыть глаза.

Сначала он ничего не увидел — сгустившийся туман приобрел размеры чайнок, которые мельтешили, толклись в воздухе, странным образом не задевая лица. Он помахал перед собою рукой — словно разгонял комаров. Получилось это почти бессознательно. Но «чайники» разлетелись, и на какой-то миг перед ним открылся сказочный весенний мир, на который он смотрел с высоты птичьего полета.

Этот миг был так краток, что он успел воспринять только свежее многоцветье не то огней, не то просто ярких и нежных красок, разбросанных по солнечной юной зелени, которая не имела ничего общего с угрюмым подколодным мхом, устилавшим долину.

Еще его поразило изящество почти невесомых арок и змеящихся виадуков, из-под которых проглядывало прозрачное небо, и нависшие над этими небесными островками легчайшие каменные стены — причудливая паутина рукотворности, брошенная на этот живой мир ненавязчиво и органично. И как бы в подтверждение этому возникшему ощущению жизни там, в дымчато-небесной глубине, он уловил вдруг стремительное движение, и ему показалось, что вдоль поверхности виадука легко и непринужденно, как только может это сделать

властелин этого мира, скользит гибкое и прекрасное змееподобное существо...

Но в следующую секунду плотная роящаяся завеса снова сомкнулась перед Сергеем, и теперь он чувствовал, как она отталкивает его от края каменной чаши, а затылок уже невыносимо жгло, словно тот взгляд с верхушки озерной каланчи приобрел убойную силу смертоносного теплового луча... Захлебываясь щекочущим жаром, Сергей в последний момент почувствовал, как тугой ком сконцентрировавшегося тумана толкает его вниз, словно кулак в боксерской перчатке, гонит по склону, подбрасывая на уступах, уводя от расщелин...

...Пучок влажной травы осторожно касался его лица, и сразу становилось легче, словно с кожи смывали налипшую тину.

Сергей приоткрыл один глаз — так и есть, над ним хлопотал давешний пинфин. Выпуклые прозрачные веки, опущенные на глаза, как легкодымчатые очки, придавали ему профессорский вид.

— Привет пинфинским мудрецам, — сказал Тарумов, подставляя рот под тонкую струйку воды, которую пинфин выжимал из краснокожего «грейпфрута». — Ты и не представляешь себе, как я рад, что я живой...

Малыш захлопал веками, и пришлось перевести. В общих чертах.

Справа и слева что-то зашелестело, заскользило в траве. Тарумов вздрогнул, припоминая сказочное видение, открывшееся ему с высоты его каменного балкона. Но это были всего лишь полугалы, спешившие к озеру на водопой. А может, купаться.

Тарумов с сомнением оглядел себя с ног до головы — весь комбинезон был покрыт тошнотворной зеленоватой ряской, словно Сергей побывал в стоячей лесной канаве.

«Не окунуться ли и нам?» — предложил он.

Пинфин радостно закивал и замахал ручками, вызывая из пещеры свою подругу. До озера, хоть дорога и шла книзу, добирались долго — Сергей пока еще не научился беспрепятственно двигаться в этой сухопутной тине, да и последствия путешествия сказывались — если бы не тонизирующая роса из неспелых плодов, у него не было бы сил и пошевелиться. Он шел и раздумывал, стоит ли говорить пинфинам о результатах своей разведки.

Подумав, решил: стоит. Тот, предшественник, ничего не сказал. Может, он никуда и не успел добраться, но если бы успел и передал кому-нибудь, сейчас Тарумову было бы много легче.

Все еще раздумывая, Сергей разделся до трусов, отполоскал в тепловатой воде комбинезон, поплавал, если это можно так назвать — десять саженок туда, десять обратно. Дальше забираться он не рискнул — еще опять шарахнут тепловым лучом, в воде не очень-то отдышишься. А пинфины, похоже, плавать и вовсе не умеют — пристроились на бережку, пинфиниха своему благоверному спинку моет — набирает воды в горсточки и трет черную кротовую шкурку между лопаток.

«Вот что, друзья мои, — он присел перед ними на плоский камень, скрестив ноги по-турецки. — Я поднялся на самую высокую гору. Я посмотрел дальше, с горы. Так вот, дальше — обрыв, дороги нет. Отвесный обрыв, примерно... — он посмотрел на неподвижную узорчатую каланчу, возле которой беззаботно плескались полюгалы. — Примерно десять вот таких столбов. А может, и больше. Это вы должны запомнить, если со мной что-нибудь случится. — Пинфины протестующе замахали ручками, зашевелили губами — говорили между собой, а может, и Сергею, от волнения совершенно забыв, что он не может их слышать. — Без паники, друзья, без паники. Со мной уже... случалось. Поэтому запомните: наверх, через зеленые горы над пещерами, дороги нет. Бежать надо каким-то другим путем».

Они недоуменно уставились на него — бежать?

«Да, другим. Вы-то еще туда поднялись бы, но вот эти, которые дышат всем телом, словно мыльные пузыри переменного объема...»

Но пинфинов занимало совсем другое: бежать? Зачем? Они трясли ручками — каждым пальчиком в отдельности, и Сергею совсем не к месту подумалось, что с такими гибкими и чуткими пальцами из них вышли бы непревзойденные музыканты...

А пинфины не смели, не хотели, не желали даже думать о бегстве. Здесь ведь они сыты, здоровы...

Тарумов махнул рукой.

«Постерегите вещички, — показал он им, — а я прогуляюсь в сторону этой насыпи. — Он глянул на верхушку пестроклеточного минарета, добавляя про себя: если мне это позволят. — Кстати, из вас никто не боится вот этой штуки?»

«Нет. Она же неживая!»

Ах, как же вы наивны, братцы вы мои плюшевые. Неживая! И я туда же — чего я там боялся, когда обнаружил, что меня обокрали и ободрали? Лап?

Не того боялся. Самое страшное — не руки, не лапы. Манипуляторы.

Кромкой воды он подошел к насыпи. Крутенько, метров пять-шесть, поверхность под вездесущей тиной явно щербатая, с выемками, значит — можно забраться. Но — отложим.

Решетка ворот была покрыта коротеньким буроватым мхом, осыпавшимся под пальцами. Не зелень — забавно, первое исключение. А что там сзади просматривается?

Да то же самое, только... Далеко, не разглядеть. Изумрудно-шавелевая взвесь скрывает очертания, и все-таки там, в глубине долины, строения весьма причудливых очертаний. Даже можно сказать — настораживающих. Они сливаются в один массив, но это явно отдельные башни, напоминающие...

Нет, показалось. И проклятый туман сгустился, проступают лишь неясные контуры, пирамида или целый храмовый комплекс. А может, все-таки...

Он простоял еще минут пятнадцать, всматриваясь в уплотняющийся на глазах занавес. Нет, надо вернуться к озеру и дожидаться прояснения погоды. Похоже, этот флёр опускают перед ним каждый раз, когда он начинает проявлять слишком пристальное внимание к тому, что лежит за пределами отведенной им лужи с прилегающими угожьями.

Но башню-то он осмотрит.

Тяжелая дверь — не то камень, не то строительный пластик — подалась на удивление легко. Тарумов боком проскользнул внутрь башни-туры и ошеломленно замер на мгновенье.

Машинный зал. Вернее — распределительный. Трубопроводы, баранки штурвалов, глазастые выпуклые индикаторы, у которых по окружностям бегают разноцветные жучки. Поверхность стен разделена на несколько секторов, каждый окрашен в свой цвет. Все напоминает дешевую бутафорию. Нет, не так просто. Какой-то неуловимый психологический оттенок... А, вот что: это сделано по вкусу людей — но не человеческими руками. Тарумов глядел на всю эту квазиземную технику, как смотрела бы ласточка на гнездо, сплетенное пальцами людей. Заботливыми, чуткими, но такими неумелыми по сравнению с легким птичьим клювом...

А что касается бутафории, то это нетрудно проверить. Какой цвет воспринимается как самый безопасный? Этот, серовато-лиловый. В этом секторе два рубильника, два штурвала, пять индикаторных плафонов, но светятся только четыре. И что-то вроде реостата. Ну, была не была...

Он повернул правый штурвал градусов на пятнадцать. Пошло легко, и тотчас же мигание световых блошек на верхнем плафоне замедлилось. Так, а теперь

выйти вон (если выпустят) и поглядеть, не приключилось ли чего...

Он вышел беспрепятственно, и тут же до него донеслись пронзительные, панические визги — ну так и есть, это полюгалы, которые отменнейшим стилем «дельфин» мчались к берегу и выбрасывались на замшелые валуны.

Сергей подошел к прибрежным камням, осторожно потрогал босой ногой воду — ну, конечно, похолодала градусов на десять. Бедные крокодильчики, не схватили бы пневмонию. Он вернулся и поставил штурвал в прежнее положение. Огоньки забегали проворнее.

До чего же все примитивно! Любое мало-мальски разумное существо может регулировать параметры внешней среды. Хотя, может быть, остальные сектора предназначены для чего-то другого. Но раз сюда впускают и отсюда выпускают, то разберемся в этом в следующий раз. Сейчас — общая разведка. И главное: установить границы запретной зоны.

Он подумал и невольно рассмеялся. Нет, не запретной — дозволенной. Запретной-то как раз будет все остальное.

Он медленно прошел мимо бурой решетки, глянул сквозь переплетение толстенных брусьев. Смутная громада неведомого сооружения едва угадывалась в тумане. Если бы ему не посчастливилось заметить ее полчаса назад, сейчас он вряд ли обратил бы внимание на темное расплывчатое пятно.

Двинуться туда, за насыпь? Так ведь решетку не раскачаешь. Таран? Камень на берегу подобрать можно, но этот процесс слишком шумен — привлечет внимание. Подкоп? Под самой решеткой явная каменная кладка, но если расчистить тину... Так... А теперь обратным концом фломастера (поистине незаменимая мелочь, ставшая единственным орудием производства!) выскреги землю, набившуюся между камнями... Прекрасно. Это просто прекрасно, что они не сцементированы. Ве-

роятно, и стены «туры» сложены так же. Похоже, что каменные — или каменеподобные? — блоки подгонялись друг к другу с точностью до миллиметра, как постройки земного мегалитического ареала. Да, но вот тут, под воротами, почва осела, и расстояние между камнями увеличилось. Ага, зашатался. При желании теперь его можно вынуть. А соседний — и того проще. Блистательно! Прикроем теперь травушкой-муравушкой и оставим до лучших времен.

Спрашивается только, почему все эти, с позволения сказать, гуманоиды до сих пор сидели тут, сложа свои интеллигентские ручки, и не занимались ничем подобным?

Он старательно скрыл следы своей деятельности и пошел обратно, к безропотно дожидавшимся его пинфинам.

— Помылись? — Он не мог отказать себе в удовольствии иногда сказать что-нибудь вслух. — С легким паром, как говаривали у нас на Земле, пока в моду не вошли ионные распылители.

Пинфины глядели на него грустно-прегрустно и даже не мигали.

— Вы бывали там, за насыпью? — спросил он уже на понятном им условном языке.

«Нет. Страшно».

— Волков бояться — в лес не ходить, как говорили овцы... А вам не удавалось рассмотреть, что это там, в тумане, за насыпью?

«Это корабли, на которых прилетели все живущие здесь. Там и твой корабль. И наш...»

Сердце в груди бухнуло. Корабли. Так вот почему силуэты показались Сергеем знакомыми, он только не позволил себе узнать их... И громада медлительного транспортного тягеловоза из серии, подаренной землянами «обиженному» народу Ван-Джуды, и его собственный стройный почтарь, птенец по сравнению с этим грузовиком.



А ведь на свой корабль пинфины смогут погрузить всех...

Он старательно оделся, и от влажного комбинезона озноб прошел по всему телу. Совсем не отдохнул. По-спать бы тут, на бережку... Так ведь некогда.

— Вы не очень проголодались?

Пинфины смущенно поморгали.

— Тогда подождите меня еще несколько минут!

Он долго и старательно рвал траву, жгуче сожалел о забытых в пещере перчатках. Пинфины подкатились на коротеньких своих ножках, ни слова не спрашивая, помогли. Когда набрался порядочный стожок, Тарумов подтащил его к подножию насыпи, привычно бор-моча:

— Знать бы, где упасть — соломку б подстелил, как говаривали у нас на Земле, пока солома была предметом сельского ширпотреба.

Пинфины по-прежнему молчали, поглядывая на него сочувственно и боязливо.

— Ну, я пошел.

Он тщательно ощупал крутой бок насыпи, нашарил выбоинку и ободрал кругом мох. Поставил ногу, поднялся на полметра. Это ему сошло. Снова нащупал выбоинку, принялся драть скрипучую зелень. Мертвые глаза неотрывно глядели в затылок.

Он поднялся на эту насыпь, и выпрямился во весь рост, и успел прикинуть на глазок, что до смутно чернеющей громады сбившихся в кучу космических кораблей отсюда по прямой метров триста, не более, вдруг затылок резанула знакомая обжигающая боль и мягкая лапа мгновенно собравшегося в один ком исчерна-зеленого тумана швырнула его назад, на столь заботливо подстеленную им самим травку.

Пинфины отливали его долго. Сергей очнулся, лежал с полчаса, набираясь сил, чтобы хоть пошевелить руками, и без лишних слов погнал малышей обратно в пещеры — за обедом и рукавицами. В течение несколь-

ких часов, пока они ходили туда и обратно, плел из уже нарванной травы маскировочную циновку.

Пинфины вернулись усталые, загрустив пуще прежнего — пропал один из тех, «что не видят». Тарумов не успел как следует познакомиться с этими медлительными, тяжелорукими существами, которые не оправдывали своего скоропалительно данного прозвища: они действительно не имели глаз, но зато всей поверхностью лица воспринимали инфракрасное излучение. Он чувствовал, что с этими ребятами договориться будет нетрудно, но вот времени на то, чтобы договариваться, не было.

Сергей только засопел, выслушав это известие. Наспех сжевал лиловатую мякоть, набросил на себя травяную сетку, полез. На верху насыпи героически выпрямляться больше не стал — вжался в мох, даже зажмурился.

Его сшибли точно так же — безошибочный, беззловбный удар.

Отливали, отмывали. Громадные глаза пинфинов были полны слез. Сергей стиснул зубы, объяснять было нечего — все видели сами. Как только смог двигаться, полез к решетке. На всякий случай циновочкой-то прикрылся, так и ковырялся под ней, согнувшись в три погибели — выскребал один за другим тяжеленные камни из-под решетки, готовя лаз.

Ему не мешали.

Он углубил желоб. Обернулся к пинфинам, помахал им рукой и скользнул во влажную канавку.

Метра три-четыре он полз, не веря себе.

Не пропустили.

Шарахнули липким зеленым комом, так что тело сразу осело.

Пинфины вытащили его, похлопотали — безрезультатно. Наверное, он провалялся без сознания больше земных суток. Очнулся, захлебываясь неумейной дрожью от холода и слабости. Переполз на циновку. Кто-то —

кажется, полюгалы — тащили его вверх по склону, повизгивали.

В пещере он отоспался, потом взялся за дело: острием фломастера, а кое-где и замочком от «молнии» выцарапал на гладкой стене краткий отчет о своей разведке — на всякий случай, если уж не придется очнуться. И еще мизерная на первый взгляд проблема не давала ему покоя: а зачем в этой колонии человек? Если верить рассказам, которые передавались из уст в уста, без человека здесь ни дня не обходились. Инопланетянам люди казались на одно лицо, и в горестях вынужденного заключения они не отдавали себе отчета в том, что земляне могли сменять один другого. Исчезал, умирал один — сюда доставляли новенького. Но — поодиночке. Пинфинов, крокодилчиков, инфраков было по несколько особей, человек — один. Но постоянно.

Какую же роль он здесь играл — няньки? Похоже, потому что двери башни прямо-таки дразнили его своей доступностью. Но если кто-то смог построить такую машину, да еще и смог доставить сюда инопланетян со всех концов Вселенной — на черта ему, такому всемогущему, земной космолетчик на должность необученного гувернера? На роль вселенских переводчиков лучше всего подходят пинфины — они тут живо со всеми познакомились и отлично договариваются. А случись что-нибудь — эпидемия, например, и Сергей отлично понимал, что он окажется бессилен.

Так зачем он здесь — крутить колесики, делать водичку в озере то теплее, то студенее? Нелогично. Уж если они тут так настропалились шелкать по затылку тепловым лучом, то проблема дистанционного управления у них должна быть решена.

Так зачем, зачем этим невидимым гадам человек, который к тому же будет постоянно пытаться отсюда удрать? Для чего здесь устроен этот заповедник — этот вопрос он в конце концов запретил себе решать. Даже если и не свихнешься, все равно потеряешь время да-

ром. Нужно четко сформулировать главную проблему и долбить только ее.

Когда-то много лет тому назад, когда он получил под свое командование первый корабль, он чуть не погубил всех людей как раз потому, что заметался в определении главного, а потом еще и не мог решиться на отчаянный шаг — сесть на незнакомую планету, оккупированную лемоидами.

Позже он нашел для себя редкую должность почтальона-инспектора. Маленький кораблик, развозящий срочные грузы по дальним планетам, — занятие не хлопотное. Экспедиции снаряжались обстоятельно, и редко случалось так, что на базе забывали погрузить что-то жизненно важное. Но бывало. Тогда и отправлялся почтальон — на маленьком кораблике, в одиночку. Ему не приходилось быть вторым номером, он был единственным членом экипажа. Это и давало ему моральное право летать, потому что после того злополучного рейса он никогда не взял бы на себя ответственность за других людей.

А вот здесь он ничего на себя и не брал — получилось. Само собой легло ему на плечи. И сидят тут эти, с позволения сказать, гуманоиды сиднем, как колоды, под которые ничто не течет, а стоит заговорить о бегстве — и сразу, как страусы, головы в песок. Страшно!

Им, видите ли, страшно, а ему, уже четырежды битому, не страшно.

Окрепнув, он пошел вдоль насыпи влево, сделал еще несколько попыток перелезть через нее — результат был однозначным. Били.

Вернулся к варианту башни, перепробовал все рычаги, штурвалы и реостаты. Добился замерзания озера, разрежения воздуха чуть не вдвое, по его прихоти можно было бы учинить в долине бурю, потоп, воспроизвести форменную Сахару и даже, на худой конец, геенну огненную. Разумеется, все эти опыты он проводил с ве-

личайшей осторожностью, хорошо помня, как он однажды чуть не поморозил полугалов.

Опыты ему сходили с рук. Но и за массивными стенами, сложенными из настоящих валунов, он чувствовал пристальный немигающий взгляд. Когда он дошел до регулятора освещенности, он попытался под покровом колодезной темноты снова проскользнуть под решеткой — нет, не дали. Только пинфинов перепугал — после они рассказывали, что с наступлением зеленых сумерек над вершинами гор, образующих их долину (Тарумов уже подумывал — а не кратер ли?), якобы зажглись три полных луны, повергшие обитателей пещер в совершенно необъяснимый ужас. Сергей понял, что и с башней он зашел в тупик — да, он мог бы перевернуть, испепелить, затопить зловонным туманом всю эту лохань — но если бы это решало задачу бегства...

Иногда ему уже казалось, что и его предшественник, вот так же, не найдя способа бежать самому и увести за собой остальных, просто не выдержал и...

Нет. Он вспоминал тонкие пальчики пинфинов, их испуганные пепельные глаза и понимал — нет. Человек не мог бросить их и уйти. Даже в небытие.

Потом он предпринял попытку обойти озеро справа и таким образом подобраться к кораблям — опять ничего не вышло. Километров через шесть берег подымался, сперва исподволь, а потом все круче и круче. Тарумов уже начал прикидывать, а пройдут ли по такому пути инфраки, как вдруг скала под ногами оборвалась отвесным срезом — дальше пути не было. Озеро неподвижно замерло где-то в глубине, и только далеко-далеко, в дымке нездешнего, легкого свежего тумана, угадывался другой берег, шумящий позабытыми здесь деревьями...

Традиция была соблюдена и на этот раз — зеленый протуберанец, выметнувшийся снизу, отшвырнул его далеко от обрыва.

Возвращаться пришлось ползком. Он скользил по шелковистой поскрипывающей тине, и в голову так

и лезло видение сказочного гада, властно и стремительно мчащегося над каменным виадуком. Царственный уж, атактистический символ мудрости, доброты и семейного благополучия... Но как связать этот образ с насильственным заточением нескольких десятков гуманоидов здесь, в этой мрачной чаше исполинского кратера?

А может быть, виной всему непонимание? Может, их всех просто пригласили в гости, и нужно только найти общий язык с хозяевами — хотя бы в лице этого пестро-клетчатого телеграфного столба, несомненно, изображающего стилизованного змия? Но как обмениваются информацией обитатели здешнего мира — может быть, на гравитационных волнах? Ну а если у них в ходу гамма-кванты или нейтринные пучки? Что тогда? Гостеприимно, ничего не скажешь. От таких хозяев надо дуть без оглядки, а дружеские отношения налаживать с расстояния в два-три парсека.

Можно, конечно, предположить и совершенно фантастический, архигуманный вариант. Допустим, что все обитатели этой долины — эксмертвецы. Космическая авария, лобовое столкновение с метеоритом при выходе из строя локаторов... И вот — чудеса инопланетной реанимации, воссоздание организма из единственной заледневшей клетки, выуженной из межзвездного пространства... Ну, как они воссоздавали комбинезон — уже детали. Главное — сама идея всегалактической службы спасения, и тогда эта изумрудная обитель — своеобразный санаторий строгого режима, откуда не удерешь до полного восстановления сил... Но все-таки лучше, если мы будем восстанавливать свои силы где-нибудь подальше отсюда. А если версия вселенского гуманизма подтвердится — ну что же, мы сумеем поблагодарить своих спасителей. Но сейчас нужно думать совсем о другом.

Вот так, невольно залезая во всевозможные нравственные модели этого мира и постоянно гоня от себя эти мысли (все мысли, кроме одной: о способе бегства), Сергей дотащился до пещер.

Возвращение его было ужасным. Обезумевший от горя пинфин встретил его на пороге: пропала его подруга.

Пропала так, как и раньше пропадали здешние обитатели: была где-то рядом, за спиной, он через некоторое время обернулся — никого нет. И ни всплеска, ни шороха.

«Может, ушла вниз, к озеру? Уснула по дороге? Небольшое черное тельце, свернувшееся в плюшевый клубок, легко затеряется на холмистом склоне...» — «Нет. Вся небольшая колония пинфинов, полюгалы и рыбы пузыри (а это еще кто?) спустились до самого озера, но ее нет ни на кубических уступах, ни в башне, ни за насыпью, ни в воде — полюгалы ныряли...»

Тарумов выпил залпом три полных «грейпфрута» — живая вода сработала, словно он выпил старого доброго коньяка. Ощувив прилив бодрости, он встряхнулся и бросился обшаривать окрестности пещер. Не может быть, чтобы никакого следа. Не может быть. Но ведь было уже. И сколько раз. Значит — может. Значит, они все-таки во власти холонокровных выползней, к которым гуманоидная логика неприменима. Он искал, но знал уже, что это бессмысленно, потому что маленького кроткого существа с печальными пепельными глазами нет ни на склоне, ни в озере, ни за насыпью...

ЗА НАСЫПЬЮ?!

Он скатился вниз, к пещере, не веря своим ушам, не веря своей памяти.

«Ты был за насыпью?» — «Да, но там ничего нет. Там нет пещер. Там нет камней. Искать негде. Там нет даже плодов в траве, и полюгалы туда больше не заглядывают». — «Значит, и они там были?» — «Когда-то... да». — «Жди меня!»

Он мчался вниз по склону, как не бегал здесь еще ни разу. Травяные кочки упруго отталкивали его, словно легкие подкидные доски. Проверить, проверить немедленно — неужели запретный барьер снят? Неужели дорога к кораблям открыта?

Еще на бегу высмотрел луночки, расчищенные им в прошлый раз на мохнатом боку насыпи, с разбегу взлетел наверх...

Как бы не так. Липкий зеленый кулак деловито сшиб его прямо в пожелтый стожок, припасенный давно и так кстати...

Когда он пришел в себя, не хотелось ни отмыться, ни шевелиться вообще. Кажется, эти земноводные добились своего — выколотили из него всю волю, всю способность к сопротивлению. У него не было к ним предвзятой атавистической неприязни — отголоска тех незапамятных времен, когда босоногий человек на лесной тропе бессознательно шарахался от ядовитой твари. В детстве он даже любил возиться с лягушатами, жабами и особенно ужами, и они нагуливали себе подкожный жирок на дармовых кормах в его великолепном самодельном террариуме. А однажды отец даже взял его (потихоньку от мамы, разумеется) в настоящий серпентарий. В загон их, естественно, не пустили, но через толстые стекла, вмазанные в кладку стен, он досыта нагляделся на медлительных и с виду таких же ручных, как и его ужи, щитомордников и гюрз. А потом ему дали погладить великолепного золотоглазого полоза — беспокоеное создание, постоянно мятущееся по загону в поисках лазейки. Уникальное свободолюбие этого существа стало для него роковым: он попал в неволю именно благодаря ему и обречен был служить своеобразным индикатором целостности и непроницаемости вольера. Как только эта огромная, почти трехметровая черная змея исчезла из поля зрения серпентологов — значит, надо было немедленно искать и заделывать лазейку. При любой, самой минимальной возможности бежать этот субъект удирает первым.

И попадался — следили практически за ним одним, бедолагой...

За ним одним.

За ним.

Створки детских воспоминаний медленно закрылись, чтобы дать место горестному осознанию настоящего. Мир мудрых, прекрасных ужей... Он исчезал, осыпался вместе с шелухой внешних, поверхностных ассоциаций.

Ведь это он, и только он, был ужом, золотоглазым змеем-полозом, бессильно бьющимся головой о стены этого гигантского террариума. Это за ним неусыпно следило мертвое око озерного стража — за ним, человеком, самым свободолюбивым существом Вселенной, за уникальным индикатором возможности побега...

И тогда одновременно с сознанием собственной роли в этом мире перед Тарумовым естественно возник единственный выход.

«...а старт будет тяжелым, уходить надо будет на пределе. — Он не хотел их пугать и скорее занимал реальную опасность, а старт должен был быть чудовищным, неизвестно еще, все ли выдержат. — Нужно только оторваться от поверхности, а там каких-нибудь сорок тысяч метров — и в подпространство, вам ведь не требуется точного выхода из него. Где ни вынырнете — все равно ваш сигнал бедствия экстренно ретранслируют на Землю. Висите себе между звезд, отдыхайте, помощь сама вас найдет...»

«Нет», — сказали пинфины.

«Нет», — повторили за ними и полюгалы, и «рыбы пузыри», дышавшие всем телом, и инфраки с неподвижно-напряженными зрячими лицами, и зеркальные сосредоточенные близнецы, о самоуглубленном существовании которых Сергей до сих пор и не подозревал.

Он кричал на них, он издевался над ними, он готов был побить их, связать травяными веревками и таким вот безвольным, тупым косяком гнать их до самого звездолета... Он-то на все был готов, одна беда — дойти до корабля они должны были без него.

Он продолжал убеждать, он рисовал им на стенах

пещеры сказочные картины Земли — горы, облака... Теперь он уже не старался убедить их — он просто ждал.

И вот он услышал, даже нет — почувствовал, как снизу, из лабиринта тинных холмов, появился его пинфин.

«Ты дошел?» — «Да». — «И вошел внутрь?» — «Да». — «Ее нет и там?» — «Нет». Об этом не нужно было уже спрашивать.

«Ты пробовал запустить двигатели?» — «Да. Но это никому не нужно». — «Это нужно тебе, потому что у тебя единственный шанс — привести помощь с Земли!» — «Бесполезно...»

Бесполезно!

Как он сейчас ненавидел их — беззащитных, кротких, слабых...

Бесполезно!

Ну нет, это вам так не сойдет, я научу вас свободу любить, младшие мои братья по разуму, так вас и так...

«Переводи. Переводи им всем, и поточнее: огонь спустится с гор, и смрад затопит долину. Спасение — там, за насыпью. Перевел? Все поняли? А теперь пошли вниз, к озеру. До ворот по одному, а дальше к кораблям поведешь всех ты. Дорогу знаешь».

Он двинулся вниз, привычно задирая ноги по-журавлиному, чтобы не путаться в осточертевшей тине. Оглянулся — никто так и не пошел за ним. Сергей недобро усмехнулся, вытащил из-за пояса перчатки и принялся на ходу драть длинные влажные пучки.

Он шел медленно, медленнее обычного — плел что-то вроде каната. Пока добрал до башни-туры, сплел изрядно, метра три. Не начало бы сохнуть раньше времени. Поторапливаться надо.

Он ускорил шаг. За бурую замшелую решетку только глянул искоса, но даже не задержал шаг. Влетел в регуляторный зал — все знакомо, опробовано, и слава богу. Этот верньер — до отказа, теперь снаружи темно-

та. Хорошо, стены башни изнутри попыхивают колдовским сиреневатым светом.

А теперь — канатик. Перекинуть через крестовину красного штурвала и дотянуть до крестовины вон того, пепельного. Дотянул. И — мертвым узлом. Просто-то как, а?

Отступил, прикинул — не надо ли еще чего? Нет, хватит. Чтобы не перебрать. Эти-то два эффекта надежно проверены, не в полную силу, разумеется, иначе в пещерах давным-давно никого в живых бы не осталось. Но сейчас он увидит, каково это — в полную силу!

Хоть это удовольствие он получит.

Он выскочил из башни и начал быстро карабкаться вверх, к пещерам. В сторону насыпи он даже не повернул головы — сгустившаяся по его воле тьма не позволила бы ему рассмотреть даже смутные силуэты кораблей. Вверху тепло мерцали арочные входы в пещеры, три луны приподнялись из-за вершин, опоясывающих долину, и на отвесных гигантских ступенях слабо замерцали полустертые знаки неземного языка. Темнота — это у него хорошо получилось.

А теперь начнет свою работу сохнувшая трава.

И началось. Он знал, что не пройдет и часа, как травяной канат, сжимаясь, начнет поворачивать друг к другу два колеса, к которым до сих пор Тарумов едва смел притрагиваться. Да, началось. Кромка гор затеплилась золотистым светом, и пока это было еще не страшно, но полоса огня расширялась, теперь это была не тоненькая нить, очерчивающая контур каменной чаши, теперь это было похоже на огненную змею, устало и мертво распластавшуюся по верхнему краю их долины.

Но полоса огня все росла, ползла вниз, и вместе с ней и опережая ее, вниз устремился удушливый смрад... Апокалипсис, да и только. Долго ли там будут медлить младшие братья?

Они не медлили. Они катились в ужасе вниз, и только

по стремительно мелькавшим мимо него теням Тарумов мог определить, сколько же их спасается бегством. Тридцать... Больше сорока... Больше пятидесяти... Кто именно — этого он определить не мог.

Не узнал он и своего линфина.

Они промчались мимо него повизгивающей, всхлипывающей стайкой, и, отставая от всех, последними прошагали зеркальные близнецы.

Все. Теперь лучше взять вправо, на гигантский, исписанный магическими письменами уступ. Но, словно угадав его желание, огненный ручей отделился от общей полосы огня и, круто направившись вниз, заструился прямо навстречу Сергею, стекая по ступеням исполинской лестницы. Сергей отпрянул — он знал, что его ждет, он сам выбрал это, но... не так скоро.

Он побежал влево, оскальзываясь на влажной пока траве, падая лицом в пружинистые кочки, задыхаясь, обливаясь потом. Скинул ботинки. Затем на бегу содрал с себя комбинезон. Холодный взгляд упирался в него ощутимо — до мурашек на левом плече и щеке, обращенных к озеру, и впервые он чувствовал не омерзение и даже не безразличие, а острую, злобную радость. Давай-давай, гляди! Гляди и не оборачивайся, дубина запрограммированная, гляди во все глаза и не отвлекайся, потому что сейчас только это от тебя и требуется!

Потому что они еще не дошли. Еще не взлетели.

Так он шел и шел, уводя за собой неотрывный взгляд своего стража, и трава, словно чувствуя приближение огня, как-то разом усохла, перестала путаться и пружинить, и идти было бы совсем легко, если б не удушливая гарь, но идти было уже некуда — перед ним открылся давешний обрыв, и свежий воздух подымался толчками из глубины, словно там, в темноте, взмахивала крыльями исполинская птица. Настигаемый нестерпимым жаром, он вскинул руки, ловя губами, лицом, грудью эти последние глотки прохладного ветра, и в это

мгновение такой знакомый, такой земной гул стартовых двигателей выметнулся из темноты, и огненные звезды дюз поднялись вверх, в темно-зеленую глубину неба...

Успели.

И последнее, что увидел Тарумов в конусах света, отброшенных уходящим кораблем, было стройное тело сказочного змееподобного существа, промелькнувшего над озером в стремительном и естественном полете. Это не было погоней за беглецами. Осеребренный светом удаляющихся звезд, этот змей даже не взял на себя труд проследить за их исчезновением.

Он искал не корабль, а крошечную фигурку человека, этого самого вольнолюбивого существа во Вселенной, который должен был бежать отсюда первым, а вместо этого предпочел задохнуться в чаду разожженного им же самим пожара. Так почему же он не бежал?

ПОЧЕМУ?

Медленно, круг за кругом, спускался он к обугленному обрыву, и продолжал спрашивать себя, и по-прежнему не находил ответа. И не мог найти, потому что логика существ, населяющих террариумы, несовместима с логикой тех, кто эти террариумы создает. Он глядел вниз, и взгляд его был полон недоумения и разочарования.

Но если бы Тарумов мог видеть эти глаза, обращенные к нему, они снова показались бы ему мудрыми и прекрасными...

ПЛАНЕТА, КОТОРАЯ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ДАТЬ

1

Здесь, на огромном, чуть мерцающем экране внешней связи, город геанитов выглядел еще более убогим. Особенно эта его часть, расположенная на уступах хол-

ма. Тут уже не было стройных, многоколонных храмов и площадей, мощенных лиловатым камнем.

Здесь располагался рынок, одно из отвратительнейших мест города. Корзины, циновки, циновки, корзины, горы сырых или наполовину приготовленных продуктов питания, все это в пыли, чуть ли не на земле, и все хватает прямо руками; плоды, зелень и рыба перекочевывают в корзины покупателей и нередко — обратно, если какую-либо сторону не устраивает цена или качество; неистовая жестикуляция, изощренная брань и грязь, грязь, грязь...

Командир брезгливо поморщился. И надо же было тем, кто вышел сегодня из корабля, отправиться именно на рынок! Толпы беспорядочно снующих геанитов заполнили экран, и трудно выделить из них тех двоих, которые похожи на геанитов только внешне. А, вот они...

Командир подался вперед, пристально разглядывая белую фигурку, неторопливо движущуюся по экрану. Она идет медленнее остальных, ее огибают, иногда подталкивают, и почти каждый, заглянувший ей в лицо, обязательно оглядывается еще раз. Чем же она отличается от геанитских женщин?

Тот, кто в это утро назначен контролировать, идет следом на расстоянии пятнадцати-двадцати шагов. Его серая просторная одежда, посох — подлинный! — в руках, буйная растительность на лице — все это не привлекает внимания в толпе ему подобных. Девушка порой оглядывается на него, и он медленно наклоняет голову, словно боится оступиться на усыпанной гравием дороге, и это едва заметное движение его головы знак того, что все идет правильно.

И все же иногда она привлекает внимание, на нее оглядываются.

Она сама, вероятно, этого не замечает; она входит внутрь рыночной ограды, приподнимает край туники и переступает через корзину с мелкими темно-красными плодами. Навстречу ей семенящими шажками спешит

юрский старичок с бородкой, окрашенной ярко-оранжевой краской — вероятно, он до этого стоял под навесом лавки, в которой разменивают монеты. Вот он, согнувшись, заговаривает с девушкой, предлагает ей какие-то украшения... Купить? Нет. Похоже, что украшения предлагаются даром. Вот он берет ее за руку, мягко, но настойчиво тянет за собой. Указывает на крытые носилки. Девушка отказывается знаками, вероятно, не уверена в правильности своего произношения. Напрасно, ведь, инструктируя ее, кибер-коллектор подчеркнул, что в общественных местах, таких, как улицы, рынки, гавань, встречаются нередко приезжие, разговаривающие на разных языках, а не на том, который распространен в городе и его окрестностях.

Сейчас должен вмешаться контролирующий.

Да, вот он, притворяясь слепым, наталкивается на них так, что геанит с рыжей бородой отлетает к глинобитной стенке. Пока тот подымается, девушка уже успевает скрыться в проломе ограды.

И все-таки, что привлекло этого рыжебородого? Почему из всех женщин, снующих по рынку, он выбрал именно ее?

Одежда ее и облик смоделирован кибер-коллектором после длительного изучения внешнего вида, образа жизни и привычек геанитов. Отработка деталей шла под личным наблюдением Командира, он не обнаружил ни одного просчета. Почему же сейчас каждый встречный оглядывается на нее, а рыжебородый даже пытался задержать?

Командир нажал клавишу внешней связи:

— Двадцать седьмая, немедленно вернись на корабль!

Один из многочисленных КПов, выполненных в виде небольших летающих существ и развешанных почти над всем городом, принял приказ, резко спланировал вниз и пронесся над самой головой Двадцать седьмой. Девушка остановилась, потом круто повернулась и направи-

лась к выходу из города. Через некоторое время она достигнет поросших кустарником гор, где не встретишь уже ни одного геанита, и включит левитр.

Командир прикрыл глаза, давая себе минутный отдых.

2

— Руки, — приказал Командир.

Девушка подняла ладони, неловко прижимая локти к телу, и замерла, чуть откинув назад голову, словно под тяжестью огромного узла черных, отливающих металлом волос.

Командир взял ее руки в свои, поднес к глазам, придирчиво осмотрел со всех сторон. Нет, все правильно. И удлиненные ногти, и проступающие сквозь тонкую кожу едва уловимые узоры кровеносных сосудов, и причудливые, словно трещинки на розовом мраморе, морщинки на теплой ладони.

Все правильно.

А если что и неверно — разве можно это обнаружить за несколько шагов?

Командир опустил руки девушки, они упали и бесильно повисли вдоль тела.

— Пройди три шага.

Девушка еще выше вскинула голову и сделала три легких скользящих шага.

— Повернись. В профиль.

Она повернулась.

— До стены и обратно, медленным шагом.

И опять:

— Теперь — немного быстрее.

И еще, и еще, и еще:

— Стой. Иди. Стой. Иди. Медленнее. Быстрее. Вперед. Назад. Постановка головы! — крикнул Командир.

— Нет, — сказала девушка, — нет.

— Почему ты уверена?

— Не знаю. Объяснить не могу, но чувствую, что не это.

Командир вздохнул, резким движением поднялся из своего кресла и подошел к девушке. Осторожно, чтобы не повредить, они были подлинные, коллекционные — отстегнул бронзовую пряжку на плече девушки и вынул булавку, скреплявшую одежду у пояса. Белая с голубой каймой ткань бесшумно упала на пол. Командир подержал на ладонях бронзовые вещицы, словно взвешивая их, и аккуратно положил на стол. Потом поднял белое покрывало, подошел к пульту внутреннего обслуживания и набрал шифр приказа:

«Центральное хранилище. Образцы подлинных тканей».

Почти сразу же щелкнула дверца стенного горизонтального лифта, и серая лента транспортера вынесла папку с аккуратными квадратами разноцветных тканей. Закрыв дверцу, Командир еще раз внимательно посмотрел на девушку: в одних деревянных сандалиях с причудливым переплетением белых ремешков, она стояла в трех шагах от кресла Командира, по-прежнему чуть-чуть запрокинув голову и полузакрыв глаза. Но сандалии тоже исключались: как и бронзовые украшения, они были настоящие.

Командир опустил в кресло и открыл папку с образцами.

Если бы он имел право на усталость, он признался бы себе, что бесконечно устал.

Неудачи, неудачи, неудачи. От самых больших (ни одна экспедиция под его командованием не дала положительных результатов) до самых мелких, с удивительным постоянством сыплющихся на его голову, — вроде этой, когда Двадцать седьмая, практикантка в первом рейсе, была опознана аборигенами как будто бы без всяких на то оснований.

Пожалуй, было бы разумнее порекомендовать для Двадцать седьмой какое-нибудь животное, остановился

же Сто сороковой на небольшом черном звере, так часто сопровождающем геанитов как в прогулках по городу, так и в более длительных путешествиях. Да, надо было учесть неопытность девушки и посоветовать ей выбрать роль животного — несомненно, это сузило бы для нее сектор и время наблюдений, но главное можно было поручить КПАм, смонтированным специально для Геи в виде небольших летающих существ, издающих пронзительные ритмичные звуки. Черные и темно-серые КПы висели, порхали и кружились над городом, забирались под крыши жилищ, прятались в листве деревьев и непрерывно передавали все, что попадало в сектор их обзора, на корабль, где специальный КП-фиксатор вел отдельную пленку для каждого из подвижных трансляторов.

Командир положил руку на термотумблер фона внутренней связи:

— Сто сорокового ко мне!

Лязгая когтями по звонкому покрытию пола, в центральную рубку корабля вошел черный лохматый зверь. Поднимись он на задние лапы, он стал бы ростом не меньше любого геанита. Мерно помахивая хвостом и роняя слюну на сверкающий пол, он подошел к Двадцать седьмой и, глядя на нее, замер рядом с нею.

И снова молчал Командир, глядя на них; и снова что-то вроде обиды, неясного, смутно пробивающегося ощущения, так редко и неожиданно всплывающего из глубин подсознания, наполнило его; и уже не капитан корабля Собирателей, не командир шестнадцатой по счету экспедиции, а просто Четвертый, просто стареющий логитанин, которому оставалось совсем немного рейсов, мучительно старался подавить в себе это непрошеное ощущение, горечью своей уходящее в прошлое и беспокоейством в будущее, и — не мог.

«Собиратель, составивший точное описание исследованной планеты, может считать свой долг выполненным» — так говорил Закон Собирателей.

Покинув планету, все рядовые члены экспедиции забудут о ней. Командир должен составить отчет и сделать предварительные выводы о том, что эта планета может дать для Великой Логитании. Если все это он сделал точно и безукоризненно, аргументировал свои выводы, он сделал все, что от него требовалось. Отчет его поступит на рассмотрение Высшего комитета по инопланетным цивилизациям, и никто, кроме тех, кто был рядом с ним, не будет знать, чего же они добились.

Так было всегда. Но никогда раньше не становилось так мучительно горько.

Командир старательно прогнал эти мысли, когда убедился, что его по-прежнему волнуют только судьбы экспедиции, обернулся к Сто сороковому и Двадцать седьмой. Две странные, никогда не виданные в Логитании фигуры замерли перед Командиром: обнаженная геанитянка с чуть запрокинутой головой и черный угрюмый зверь. Командир смотрел не на каждого из них в отдельности, а как-то на обоих сразу и снова не мог понять, почему же это ощущение горечи возникло именно сейчас? Может быть, просто потому, что им, этим двоим, еще летать и летать?..

— Сто сороковой, — сказал он, снова гоня от себя непрощенные мысли, — вы готовы к выходу?

Сто сороковой мотнул головой, издал какой-то неопределенный звук и нервно сжал переднюю лапу в комок; выбранный им образ прятал его в геанитском городе, на корабле же ему чрезвычайно трудно было принимать пищу и разговаривать. Но вхождение в образ отнимало слишком много времени и сил, чтобы позволять себе роскошь демаскироваться, возвращаясь на корабль.

— Готов хоть сейчас! — хрипло вырвалось из его пасти.

— Пойдете завтра контролирующим. Выход из корабля только в ночное время. Применение левитра и

оружия в зоне, доступной наблюдению геанитов, по-прежнему запрещено. Все.

Девушка повернулась и пошла к выходу, деревянные подошвы ее сандалий чуть слышно постукивали по звонкому металлическому полу. Почему она так легко идет? Поступь настоящих геанитянок тяжелее. Она чем-то почти неуловимым отличается от всех настоящих геанитянок, хотя кибер-коллектор и создал образ на основе нескольких сотен снимков. Но ни Четвертый, ни Девяносто третий, ни Сто сороковой не могут отличить ее от прочих девушек Геи.

Геаниты делают это с первого взгляда.

Командир отвернулся. Мягко стукнула дверь, и снова он был один на один со своими мыслями, и снова эти мысли уносили его к далекой родине, далеко от Геи, планеты, которая ничего не сможет дать для Великой Логитании.

3

...Ге-а — это как желтый пушистый комок, застревающий в горле, когда всего дыхания не хватает на то, чтобы вытолкнуть его и оторвать от губ; это отчаяние непривычности, неподчиненности простейшего из чужих слов; ночные звезды, вечно падающие вниз; это прозрачное зарево весенних садов и предутреннее цветение неба, бесконечно отраженных друг в друге; это гортанный вскрик, рожденный эхом ущелья и подхваченный вереницей вспугнутых птиц, уносящихся на север, — Ге-а... Ге-а...

Это половодье ощущений и поток диковинных слов, слишком мягких и гибких для жесткого языка логитан — таких, как цепенящее *отчаянье*, и это странное, пришедшее совсем недавно — сегодня вечером — останавливающее дыхание и приводящее к желанию исчезнуть, еще не испытанное до конца — *страх*...

Страх родился сегодня, и первый крик его прозвучал

сегодня, когда топот четырех солдат мерно нарастал за спиной; страх возник извне, где-то очень далеко и одновременно — повсюду, словно на линии горизонта, стремительно сомкнулся над головой, как купол защитного силового поля; но только поле это не защищало, а, наоборот, замораживало мысли, останавливало бег крови; хотелось сделать что-то непонятное, в высшей степени нелогичное — закричать, упасть на землю... Но вместо этого вспоминалось само слово, и пустота его звучания разом уничтожила и только что возникшее ощущение, и хаос мыслей, и осталось лишь бесконечное удивление, как же это так вышло, что она, Двадцать седьмая, существо, подчиненное строгим законам внутреннего мира логитан, вдруг позволила себе опуститься до уровня геанитов, этих полуживотных, поведением которых управляет не разум, а наследственные инстинкты?!

Страх, повторяла она себе; животный страх, завещанный инстинктом самосохранения; страх перед этим топотом, перед лязгом металла, перед свистящим дыханием захлебывающихся влажным ночным воздухом геанитов — вот что гнало ее сейчас по извилистой, исполованной тенями дороге. Страх гнал ее, и она не была в эти минуты ни Собирателем, ни просто логитанкой. Она была маленькой напуганной девчонкой Геи.

И когда она поняла это, она остановилась.

Те четверо, что преследовали ее, не могли задержать свой бег так же внезапно, как сделала это она; они пробежали еще несколько шагов и, оскальзываясь на глинистом склоне и приседая, наконец остановились. Всего несколько шагов отделяло их от Двадцать седьмой, но они по-прежнему стояли, задыхаясь от неистового бега, и жадно заглатывали воздух, и никто из них почему-то не торопился сделать эти несколько шагов.

Двадцать седьмая стояла, обернувшись к своим преследователям и не шевелясь; в неподвижности ее было что-то нечеловеческое — действительно, вот так, не дрогнув ни единым мускулом, замерев в какой-нибудь при-

чудливой, порой страшно неудобной с точки зрения людей позе — так стоять могли только логитане, но Двадцать седьмая была слишком неопытна, чтобы самой заметить свой промах. Поэтому она спокойно глядела на своих преследователей, не в силах понять, что же гнало их следом за ней и почему сейчас они несмело переминаются с ноги на ногу, когда достаточно сделать три прыжка и они будут совсем рядом.

Девушка смотрела на солдат, и страха уже не было и в помине. Было даже немножечко жалко: ушло острое, впервые испытанное и вряд ли способное повториться ощущение. Доложить о нем Командиру? Это входит в обязанности Собирателя. Но докладывают об ощущениях, возникающих у них, логитан, а сейчас она была не логитанкой... Но что же делать с этими? Они стоят. Они дышат. У геанитов видно, как они дышат. Обычно у них только приподнимается верхняя часть торса и чуть приоткрываются губы, но сейчас, у этих, дышит все тело — воздух с хрипом и бульканьем вырывается из горла, стремительно взбухает грудь; свистящий глоток, четыре глотка — и тело бессильно опадает, словно мускулы соскальзывают со скелета, и снова этот мучительный выдох. Но ведь это воины, ведь это геаниты, специально тренированные, выносливые, как выючные животные. Может быть, она неправильно поступила, что бежала так быстро?

Она с досадой вспомнила о сопровождающем. Сто сороковой, огромный черный зверь... она разминулась с ним после выхода из харчевни. Туда он не мог зайти и остался ждать ее на едва освещенной улице, но четыре солдата затеяли драку, а потом летели осколки белого камня, и комья земли, и кости, выуженные из так некстати случившейся поблизости помойки, и вот получилось, что эти четверо увидели девушку и побежали следом за ней, они гнали ее по темным закоулкам и дальше за город, к морю, но Сто сорокового рядом не было.

И вот эти четверо стоят перед ней, и никак было не

понять — зачем же они догоняли ее, если сейчас они явно не испытывают желания приблизиться.

Вероятно, надо было что-то сказать им; может быть, снова повернуться и бежать. Но так стоять и смотреть друг на друга было просто невозможно. Глупо в конце концов. Или, не найдя лучшего выхода, включить левитр и подняться вверх?

И вдруг она увидела, что выражение лиц этих четверых постепенно меняется. Сначала — какое-то ожидание: вот сейчас переведем дыхание, соберемся с силами, тогда... Но затем следовала растерянность, за ней — недоумение, потом — страх. Тот самый страх, который она сама только что ощущала. Чего они-то боялись? Она стоит на открытом месте, лицо ее — лицо обыкновенной молодой геанитянки, ярко освещено лунной, она не двигается. Чего же они боятся?

И тут издалека донеслось легкое цоканье когтей по каменистой дорожке; геаниты, конечно, еще не слышали ничего и ничего не увидели бы, даже если бы обернулись, но Двадцать седьмая уже поняла: это сопровождающий, и наконец-то это глупое, непонятное происшествие придет к концу. Геаниты разом обернулись, но было поздно: зверь одним прыжком перемахнул через них и, упав к ногам девушки, мгновенно замер, словно изваянный из блестящего черного камня. Девушка по-прежнему не шелохнулась.

Некоторое время геаниты еще стояли, затем кто-то из них испустил вопль, и все четверо, рухнув на землю, затряслись, и зубы их клацали, но явственно все же доносилось никогда еще не слышанное и непонятное логитанам слово: «Геката». Затем эта дрожь прекратилась, и стало ясно, что геаниты, не подымая головы, отползают в сторону ближайшей рощи.

Темное облако закрыло луну, и в наступившей темноте послышался дружный топот: недавние преследователи спасались бегством. Луна выползла нехотя, и тогда двое, оставшиеся на пологом холме, пошевелились.

Девушка опустила голову и посмотрела на собаку — ну вот, все и уладилось, никакого нарушения инструкций, можно лететь докладывать Командиру. Зверь тоже поднял голову и весь как-то гадливо передернулся, отчего его шерсть встала дыбом и перестала блестеть, — ну да, все уладилось, но сколько было сделано глупостей, и придется докладывать об этом.

Девушка повернулась и медленно пошла вниз. Она доложит Четвертому обо всем, что произошло. Но того, что она чувствовала, когда за ее спиной грохотали медные доспехи солдат, об этом она не скажет. Это не будет названо и не произнесено вслух, и это навсегда останется с ней. Плохо это было или хорошо — все равно. Но это было ощущение, недоступное логитанам, и незачем логитанам знать о нем. Это кусочек сказочного мира Геи, который она никому не отдаст.

Она вернулась к кораблю и подробно доложила обо всем, что видел и понял ее сопровождающий. Но страх она оставила себе.

Командир слушал ее, опустив голову. Как он устал от этой нелепой, суматошной Геи!

Сейчас бы тревогу... Общую тревогу с авральным стартом, чтобы бросить на этой проклятой Гее всю аппаратуру, и — вверх, пробиться сквозь это глупое голубое сияние и очутиться наконец у себя, в черном покое межзвездной пустоты... У себя. Хорошо сказано — у себя. Удивительно точно сказано. Хотя — несколько преждевременно.

В белоснежных Пантеонах Великой Логитании множество одинаковых могил. Но все это — могилы обыкновенных логитан. Собирателей, этой высшей касты населения Логитании, нет среди них. Даже если Собиратель случайно умрет на своей планете, его тело запаивают в сверкающую капсулу и отправляют в пространство: вдали от рейсовых трасс логитанских кораблей.

Вот откуда появилась у Четвертого когда-то сарка-

стическое, потом — горькое, а теперь — безразличное: «У себя».

Но «к себе» — нельзя.

Есть закон, и есть устав, и они предписывают строго определенное время пребывания на планете. Гея — это планета, которая ничего не может дать, но и тут необходимо провести ряд исследований, использовать остановку для подготовки молодых Собирателей, загрузить экспонаты, подтверждающие бесполезность планеты, и только тогда улететь, предварительно уничтожив свои следы. Подготовка молодых Собирателей... Закон и устав. Устав и закон.

Завтра последняя попытка выхода в город. Контролирующим идет Девяносто третий.

4

Командир потребовал к себе только Двадцать седьмую, и Сто сороковой, воспользовавшись этим, остался снаружи: ему все время казалось, что он со своими когтистыми лапами и свалывшейся шерстью оскверняет внутреннюю белизну корабля.

Сто сороковой с ненавистью мотнул головой, словно отгоняя докучливое насекомое. Днем они приставали к нему нещадно; сейчас уже была ночь, они все куда-то прятались, но вот от мыслей, назойливых и однообразных, покоя не было.

Все они делают не то. Девчонка никогда не станет настоящим Собирателем. Она слишком пристально разглядывает весь этот мерзостный, беспорядочный мир, ее тянет в лабиринт вонючих закоулков этого грязного поселения; в ней нет и никогда не будет священной ненависти ко всему, что не есть Великая Логитания, и священной жадности к тому, что может быть полезным для нее. А старик? А сам Командир? Разве все они, вместе взятые, могут сравниться с ним в той безгранич-

ной, слепой преданности своей далекой родине, которая переполняла его в бесконечных странствиях?

Сто сороковой поднял длинную морду и издал протяжный, томительный звук. Звук этот родился сам собой, он ничего не означал ни на языке геанитов, ни на языке логитан. Но он шел от сердца, этот звук: его собственное или принадлежащее тому черному неприкаянному зверю, чей образ он принял?

Много подобных себе зверей встречал он на улочках и площадях этого города; они отличались друг от друга окраской и размером, голосом и повадками. Но спустя некоторое время Сто сороковой понял, что есть нечто главное, что разделяет этих зверей на два совершенно различных лагеря; одни были бездомны, другие принадлежали какому-нибудь геаниту.

И сейчас, глядя на сверкающий корпус корабля, Сто сороковой отчетливо почувствовал, как далек его хозяин, огромный, властно зовущий к себе; и залитая лунным светом громада корабля была лишь мизерной крупичей, ничтожной составляющей этого далекого хозяина, и, исполненный неожиданной жалости к самому себе от того, что так мало ему дано от вожаемого счастья услужить, он снова завыл и пополз на брюхе к кораблю, слезливо подергивая белесыми веками.

5

На следующее утро Девяносто третий проснулся в отличном расположении духа, потому что ему предстоял последний выход из корабля на этой милой, безалаберной планете.

Девяносто третий был стар и мудр. Образ, выбранный им, был для него традиционен: он всегда принимал вид престарелого немощного аборигена, — разумеется, если на той планете, куда опускался их корабль, вообще были аборигены и их облик поддавался копированию. Он прекрасно знал, что его считают одним из лучших

Собирателей всей Логитании, и тихонечко посмеивался над этим. Впрочем, тихонечко посмеивался он решительно над всем, а особенно над своими спутниками. Ему был смешон и сам Командир с вечной скрупулезной придирчивостью к себе и другим, поставивший себе целью быть идеальным Собирателем и пытающийся достичь этого при помощи рабского подчинения каждому параграфу Закона Собирателей; ему был смешон Сто сороковой с его фанатичной преданностью Великой Логитании — мифической родине, видеть которую им удастся лишь в качестве награды за особые заслуги; беззлобный смех вызывала у него и эта малышка Двадцать седьмая с ее тихими восторгами по поводу первой же увиденной ею планеты. Потом будет вторая планета, третья, восторги сменятся отупением и затем, возможно, даже ожесточением, совсем, как у Сто сорокового. Это будет гипертрофированное ощущение собственной временности, случайности и необязательности, неминуемо растущее... Планеты и перелеты, перелеты и планеты, жалкие крохи знаний, которые они украдкой, не давая ничего взамен, возьмут во славу Великой Логитании.

Бедная малышка, думал он, шаркающими шагами продвигаясь за ней по узкой каменистой улочке, благоухавшей лужицами помоев, выплеснутых расторопными хозяйками из-за глухих глинобитных заборов. Бедная малышка, она приходит в восторг при виде четких колоннад удивительно пропорциональных храмов и безукоризненной симметрии белесых, словно покрытых слоем напыленного металла, узеньких листьев высоких полупрозрачных деревьев и емкой размещенности маленьких темно-синих плодов в тяжелой, геометрически совершенной кисти. Как же много вас, бедных малышей, до конца жизни не умеющих понять, что выход один: лгать и предавать. Лгать товарищам своим и предавать дело свое.

Только сам Девяносто третий знал, до какой же степени и как давно он перестал быть Собирателем. При-

летая на новую планету, он благодаря своему богатому опыту и врожденной интуиции мгновенно сливался с жизнью ее обитателей и безошибочно определял, в чем заключается нехитрое счастье обыкновенного аборигена. Он не искал утонченных наслаждений, нет, он последовательно испытывал все незамысловатые, обыденные радости, доступные тому существу, чей образ он принял.

Так, на третьей планете Ремазанги он ловил запретных голубых пауков и, жмурясь, давил их у себя на животе, отчего они испускали несказанный аромат, погружавший его на три малых ремазангских цикла в состояние блаженной прострации; на единственной планетке солнца Нии-Наа, отощавшей под бременем неумолимо растущего числа полудиких существ, рождавшихся по восемь и по десять сразу, он ползал из пещеры в пещеру, оставляя за собой липкий след собственной слюны — искал желтоглазых младенцев, а найдя, выхватывал и торжествующим воем сзывал на расправу всю стаю; на Зеленой Горе, откуда они бежали, потеряв половину экипажа, он сумел преступить четыре из шести Заветов Ограждения и даже совокупился с белой птицемышью Шеелой, что вообще не лезло ни в какие законы.

Правда, это уже выходило за рамки обыденных радостей среднего типичного аборигена, но Девяносто третий сделал для себя исключение, пока он находился на чужой планете. На корабле он был уже логитанином, а логитане, как правило, вообще не допускали исключений: это было не в их натуре. Четкие, непреложные законы — вот к чему с пеленок приучался каждый логитанин. А исключения только развращают ум и будят воображение.

Девяносто третий ничего не боялся. Вместе с чужим образом он получал и чужие инстинкты, зову которых он отдавался без колебания и даже несколько демонстративно. Он знал, что за каждым его движением сле-

дят многочисленные КПы, развешанные над всем районом действий Собирателей, и не пытался утаить хоть какую-нибудь малость. Он последовательно проходил все стадии наслаждений, и приборы корабля послушно фиксировали все особенности скотского его состояния. Не было ни малейшего сомнения, что, поведи он так себя впервые, остолбеневший от ужаса и отвращения Командир тут же исключил бы его из списков Собирателей и физически уничтожил, но весь секрет Девяносто третьего заключался в том, что он последовательно приучал Командира смотреть на любое его похождение как на акт самоотверженного служения Великой Логитании. Обессиленный и исполненный демонстративного отвращения к самому себе, он предстал перед Командиром и, не скрывая ни йоты того, что могли наблюдать КПы, с предельной образностью обрисовывал внутренний мир аборигена, который по сравнению с жителем Великой Логитании неизменно оказывался тупым и похотливым животным, развращенным наличием второй сигнальной системы. С жертвенной неумолимостью, чеканя каждое слово, он припоминал из пережитого все самое постыдное как с точки зрения аборигена, так и с точки зрения логитанина. Полученный таким образом эталон аборигена был убедителен.

Сам же Девяносто третий приобрел незыблемую репутацию опытного специалиста по психологии разумных существ на других планетах. Надо сказать, что сохранение этой репутации давалось ему без особых затруднений.

Вот и сейчас он широким размеренным шагом следовал за Двадцать седьмой; острые колени при каждом шаге так явственно обозначались под старым хитомом, что казалось, вот-вот прорвут его; козлиная борода ритмично вздергивалась кверху. Улочка, по которой они подымались, огибала крутой холм, осколки лилового камня скатывались с него под ноги идущим. С поперечных улиц, сбегавших в низину, тянуло утренней све-

жестью — холодом, смешанным с запахом только что пойманной рыбы и больших полосатых плодов, растущих прямо на земле. Лучи только что поднявшегося светила, именуемого здесь Гелиосом, почти не грели, но унылые глиняные заборы, расписанные фантастическими пятнами самого различного происхождения, вдруг окрасились в нежный золотисто-розовый цвет. Пока он не достиг еще своей цели, утренний Гелиос будет устилать его путь лепестками изжелта-алых роз...

Старик зацокал языком. Путь его лежал в кабак.

Этот полутемный сарай открывался с восходом, а скорее всего вообще не закрывался. С дощатых столов, казалось, никогда не прибирали, и засыпающие на ходу девки, возвращающиеся с нижних улиц, прежде чем зайти в свой чулан, шарили ладонями по столу — отыскивали недоеденные куски.

Старик выбрал себе место у самой двери так, чтобы можно было видеть и утоптанную площадку перед самой харчевней, и узкие улочки, уходящие к морю. До сих пор он сопровождал Двадцать седьмую на расстоянии нескольких шагов; пора наконец ей привыкать действовать самостоятельно. Правда, он будет поблизости, всегда готовый прийти на помощь, — ведь каждый раз, когда она выходит в город, геаниты ей буквально прохода не дают, что постоянно ставит в тупик их Командира, этого... старик старательно перебрал наиболее подходящие слова на языке геанитов... этого кре-тина.

Девяносто третий некоторое время следил за тем, как девушка, придерживая руками край одежды, чтобы не разлеталась на ветру, подымается по склону холма; затем он вынул из холщовой котомки простую глиняную чашу и поставил перед собой. Потом он постучал костяшками пальцев по столу и вытянул шею, выглядывая из-за двери — Двадцать седьмую еще было видно, а коренастый раб, цепко перебирающий босыми ногами по каменистому склону, — видно, сокращал себе дорогу к

морю, где слышался дребезжащий сигнал рыбацкого колокола, зовущего первых покупателей, — уже хищно и торопливо оглядывался на нее, как это будут делать все геаниты, которых она повстречает на своем пути. Девяносто третий забрал в кулак жиденькую бороденку, сузил глаза — он-то понимал, почему так происходит. Даже нет, не понимал, а просто его самого тянуло к ней, и это был зов инстинкта, неведомого логитанину.

Все шло так, как и должно было идти, и старик снова постучал по мокрым доскам стола.

Хозяйка, появившись в дверях, заслонила собой свет — окон в харчевне не было, лампы притушены. Старик разжал кулак — к жухлой коричневой коже приклеилась блеска мелкой монеты. Хозяйка подалась вперед и выхватила монету — у нее не было ни малейшего сомнения, что нищий старик ее где-то украл; деньги мгновенно обратились в миску вчерашней рыбы и глоток светлого вина, отдающего прелой травой. Старик выпил, и снова ухватился за бороденку — плохое было вино. Никудышное. И снова нетерпеливый стук по столу, и снова — монета — уже крупнее, весомее — исчезает в складках одежды хозяйки, вдруг приобретшей необыкновенную легкость движений. И снова вино. И снова монета. И снова вино.

Монеты, конечно, украдены накануне ночью (подделка отняла бы недопустимо много времени); в глазах Командира — акт необыкновенной храбрости во имя чистоты эксперимента и во славу Великой Логитании, а для старика — единственное счастье нищего геанита, получившего кучу денег без затраты особого труда.

Сегодня эти деньги он тратит.

Тоже счастье.

Он медленно тянул чашу за чашей, постепенно пьянея: пространство свертывалось вокруг миски с жареной рыбой, замыкая старика с серьгой в приглушенно гудящий кокон опьянения. Голова его опускалась все ниже

и ниже, и когда Двадцать седьмая стремительно, словно спасаясь от невидимой погони, пробежала мимо харчевни, возвращаясь к кораблю, он этого даже не заметил.

6

Дверь каюты стукнула, и Двадцать седьмая обернулась — на пороге стоял Командир.

— Когда ты вернулась?

Двадцать седьмая не ответила. Командир невольно нахмурился: ненужный был вопрос. Естественно, что ему, как никому другому, известно, в какой момент она покинула корабль и когда она вернулась обратно. Но не это было главное.

Двадцать седьмая сменила одежду.

На ней была точно такая туника, что и утром, и такие же сандалии, но теперь все это было ослепительно белое. И не только одежда. Как он этого сразу не заметил? Совсем белые губы, кожа, ресницы. Неестественная, неживая белизна — не матовая, а искристая и ломкая на вид, словно Двадцать седьмая выточена из глыбы льда. На безжизненной маске лица — черные искры зрачков, то расширяющихся, то сужающихся — живых.

— Для чего ты сменила образ?

Командир еще раз посмотрел на Двадцать седьмую и понял, что она просто не собирается ему отвечать.

— Вчера вечером ты бежала от четырех геанитов и не смогла ответить, почему. Сегодня утром ты вернулась, вообще не выполнив задания, и тоже не можешь ответить, почему. Днем ты изготовила эту одежду, хотя могла довольствоваться экспедиционной формой Собирателей, — он указал на свой костюм. — Почему?

Девушка не шелохнулась. Даже зрачки — и те больше не жили. Командир повернулся, несколько раз обошел маленькую каюту, касаясь плечом стены. Ритмичные движения должны помогать процессу мышления. Что же он должен делать сейчас с этой Двадцать седьмой?

Он попытался вспомнить устав. «Планета, которая ничего не может дать для Великой Логитании, должна быть использована для тренировки молодых Собирателей». Больше ничего не припоминалось. Но для тренировки требовалась максимальная активность всего организма, а Двадцать седьмая находится в каком-то шоковом состоянии. Значит, ее надо вывести из этого состояния.

— Эта Гея, — сказал он, — на которую ты смотришь более внимательно и заинтересованно, чем требует от тебя твой долг Собирателя, эта Гея ничего не может дать Великой Логитании.

Девушка вскинула подбородок и посмотрела прямо на Командира, и взгляд этот удивительно легко проходил сквозь него, так что ему даже захотелось обернуться и посмотреть, что же это она через него рассматривает.

Потом ему стало не по себе.

Ни исполненное достоинства лицемерие козлобородого Девяносто третьего, ни всеобъемлющая и неиссякаемая ненависть Сто сорокового никогда не приводили его в смущение. А сейчас, под прямым взглядом этих глаз, и даже не глаз, а одних зрачков, он запнулся и впервые не поверил себе: то, что он собирался сказать, было логично, было мудро, было необходимо. Но это была ложь.

Командир отвернулся. Бред какой-то. Он все обдумал, мысли его стройны и даже не лишены некоторого изящества. Все правильно. Он должен говорить, он должен уничтожить Гею в душе этой упрямой девчонки, пока логитане еще здесь.

Иначе она унесет Гею в себе и не сможет забыть ее, отправляясь к другой звездной системе. Закон и устав гласят, что Собиратель должен собирать, но не запоминать. Когда корабль покидает чужую планету, то все сведения о ней должны храниться в пленках КП-записей и контейнерах для образцов материальной культуры. Разум же Собирателей должен быть чист от воспоминаний об оставленной планете и готов к работе на новой,

где согласно теории вероятностей и по данным бесчисленных рейсов логитанских кораблей Собирателей ждут совершенно иные условия, иные формы жизни и слишком непохожие друг на друга цивилизации. Хотя чаще всего последних нет вообще.

Командир снова пошел вдоль стены, обстоятельно обдумывая фразу, и вдруг, даже не оборачиваясь, он совершенно неожиданно для себя тихо проговорил:

— А ведь когда-то Логитания была такой же, как Гее...

Трудно представить себе, насколько кощунственной была эта фраза — сравнить Великую Логитанию — пусть даже в прошлом — с диким миром невежественных геанитов!

— Впрочем, нет, такой она уже не успела быть. То, что мы наблюдаем на Гее, — это не низшая ступень цивилизации, а преждевременное ее угасание. Логитанию успели спасти. Здесь, на Гее, власть рассредоточена и поэтому слишком слаба для того, чтобы всецело подчинить себе экономическую и политическую жизнь планеты. Чем же обусловлена неизбежность гибели цивилизации на Гее? — задумчиво продолжал он.

Кибер-информаторы, разосланные в облет планеты по многочисленным орбитам, подтверждают, что уровень развития человеческих племен чрезвычайно различен.

Но мало того, что каждый очаг цивилизации имеет свое собственное управление, это управление подразделено на ряд секторов — тут и государственная власть, и военная, и религиозная, и система шпионажа одного сектора за другим. Что же ожидает их?

Едва к власти приходит более или менее активный индивидуум, он бросается расширять свои владения за счет соседей, совершенно не отдавая себе отчета в том, можно ли будет удержать в повиновении завоеванное.

Итак, вождь, царь, реже верховный жрец — начинает войну и делает это в своих собственных интересах. Это

логично, но, возвращаясь к трофеям, он делит их между собой, государственной казной, которой он не всегда может свободно распорядиться, жреческой кастой и огромным числом знати, то есть совершенно нелогично усиливает те слои, подчинению которых от отдает большую часть своих сил.

Основные массы войск в случае успеха также недопустимо обогащаются, что приводит к их разращению, разложению, потере максимальной работоспособности. Воины получают рабов, каждый недавний подчиненный — низший подчиненный своего царя — уже чувствует себя маленьким царьком над своими рабами. Развивается независимость мышления низших каст.

Кроме того, на Гее встречаются явления, совершенно неизвестные логитанам, — это создание так называемых произведений искусства. Это — бесполезная, логически неоправданная затрата сил и средств. С точки зрения логики, всех служителей искусств вместе с их произведениями следовало бы уничтожить на благо самих же геанитов. Но Логитания не занимается благотворительностью, поэтому искусство почти не освещается в отчетах логитан, берутся лишь отдельные образцы.

Так что же происходит на Гее? Низшие слои, отвыкающие беспрекословно подчиняться, потому что они думают о своих рабах, о своем скарбе; высшие слои, недопустимо многочисленные, ожиревшие, отупевшие и вконец разращенные искусством, массы рабов, которым их положение кажется тяжелым только потому, что они могут сравнить себя со свободной беднотой, живущей лучше их, и поэтому всегда готовые восстать, — такое государство уже вполне готово к тому, чтобы соседние дикие орды стерли его с лица Геи.

Так и будет происходить.

Так будет происходить до тех пор, пока цивилизация на Гее не придет к полному самоуничтожению, думал и говорил Командир.

Имеется ли естественный способ предотвратить это?

Нет, ибо геаниты слишком быстро размножаются, земля не сможет прокормить увеличивающееся племя, и захватнические войны неизбежны.

Есть ли насильственный способ насаждения на Гее логитанской цивилизации?

Разумеется, есть. Несколько сот больших геанитских циклов под контролем логитан — и мы имели бы молодую, вполне удовлетворительную логитаноподобную цивилизацию. Но Великая Логитания не занимается благотворительностью.

Оставим же Гею с ее только что родившейся, но уже умирающей цивилизацией идти своим путем, ничем не помогая ей и ничего не беря от нее, — ведь это планета, которая все равно ничего не может дать Великой Логитании...

Командир остановился. Давно уже он не говорил так долго и так страстно. Но все правильно, все правильно. Он поступил, как велит устав.

Пункт первый — и самый главный — гласит: «Основной задачей Командира является сохранение в целостности работоспособности всего экипажа корабля».

Это он выполнит.

— А теперь иди, — просто сказал он.

Она пошла, но не к двери, а прямо к нему, и остановилась перед ним, и сказала:

— Я хочу остаться на Гее.

Они долго молчали. Командир смотрел на девушку и с ужасом ощущал, как неодолимое безразличие овладевает им. Еще немного, и он скажет: «Оставайся». Или еще хуже: «Мне все равно».

— Иди! — как можно резче приказал он. — Прямо!

Следом за ней он вышел в центральный коридор. Салон. Рубка. Выходной тамбур... Мимо.

— Наверх!

Первый горизонт. Камеры — хранилища экспонатов. Все заполнены.

— Наверх!

Второй горизонт. Как легко она идет! Женщины Гей так не ходят. Но это уже не имеет значения.

Двадцать седьмая замедляет шаги. Еще одна дверь. Мимо. Еще одна. Мимо. И еще одна. Двадцать седьмая спотыкается и падает на колени. Но дальше идти и не нужно. Эти камеры пусты. Заполнить их все равно теперь уже не успеют. Пусть эта.

— Входи.

Дверь за девушкой захлопывается. Изнутри отпереть ее невозможно.

Командир быстро проходит в рубку. Весь личный состав экспедиции на борту. Командир включает тумблер общего фона:

— Экипажу собраться в рубке. Все КПы вернуть на борт. Прекратить вылет кибер-транспортёров за назначенными экспонатами. Ускорить погрузку доставленных экспонатов. По окончании погрузки — авральный старт.

7

Пол был шероховатый и совсем не холодный: камеры были подготовлены к тому, чтобы хранить экспонаты неорганического происхождения при той температуре, при которой они находились в момент изъятия. Двадцать седьмая подтянула коленки к подбородку и обхватила их руками. Ночь только наступила. До рассвета еще так много времени, что на самом медленном и тяжеловесном кибер-транспортёре можно было бы двадцать раз слетать в город и обратно.

Еще не все потеряно. Еще ничего не потеряно. Это счастье, что Командир так спешил и не потрудился подняться еще на один горизонт. Вот тогда действительно было бы все. Но она так ловко и просто обманула Командира. Прямо так легко и так просто, словно ее кто-то научил. Чудеса! Ведь это невозможно, это логически исключено, чтобы рядовой Собираатель обманывал своего

Командира. Но это сделала не логитанка. Так же, как и тогда, когда ее догоняли четверо солдат, она чувствовала себя маленькой девочкой Геи, и маленькая девочка допустила маленькую хитрость — она сама выбрала ту дверь, которая была нужна ей, и Командир доверчиво поддался на эту хитрость. Эта дверь действительно не открывается изнутри, но снаружи ее открыть может даже кибер.

Там, за дверью, что-то прошелестело.

Нет, это не то. Это скорее всего легкий ионизатор на одногусеничном эластичном ходу. А вот специфический, захлебывающийся гул супраторных механизмов — это выбрасываются один за другим тяжелые кибер-транспортёры. Ушла первая партия. Сейчас они мягко перепрыгнут через горы и повиснут над городом, отыскивая «улиток». Этих «улиток» они с Девяносто третьим разбрасывали каждый день сотни две-три; внутри каждой такой «улиточки», выполненной по образцу геанитского сухопутного моллюска, находился крошечный передатчик, с наступлением ночи начинающий работать на определенной частоте. И простейшее запоминающее устройство. Перед тем как прилепить незаметную «улитку» к экспонату, подлежащему переносу на корабль, Собиратель диктовал этому устройству номер камеры хранения и те физические условия, в которые должен быть помещен экспонат. Это полностью исключало какую бы то ни было суету и неразбериху при погрузке.

Кибер-транспортёры нащупывали своими локаторами передатчик, изымали экспонат вместе с «улиткой» и переносили его на корабль в точно заданную камеру.

Поднимаясь на второй горизонт, Командир думал, что резервные камеры отсека неорганических экспонатов не могут быть использованы без его разрешения. Он не знал, что то единственное, что выбрала Двадцать седьмая в это утро для переноса на корабль, должно было быть доставлено именно в эту камеру.

Нужно только терпеливо ждать, когда киберы откроют дверь.

Двадцать седьмая приготовилась ждать.

И тут отовсюду — сверху, снизу, из коридора, нарастая и перекрывая друг друга, послышался лязг, вибрирующее всхлипывание планетарных двигателей и топот металлических ног. Хлопали двери камер, что-то быстро тащили по коридору, задевая за стенки; хлюпающий вой нарастал и падал, нарастал и снова падал; потом он на время стих.

Было ясно, что корабль готовится к старту.

Двадцать седьмая прижалась к полу лбом, ладонями, всем телом. Но разве можно было во всем этом адском грохоте авральной погрузки различить шорох ползущего кибер-транспортера? Поздно! Все равно — поздно. Думать надо было раньше. Думать нужно было утром. Думать надо было, думать, а не мчаться без оглядки к этому кораблю! И даже нет, не думать, а только слушаться того внутреннего голоса девчонки с Геи, который так часто учил ее, что делать.

Только вот утром он почему-то не подсказал ей, что бежать надо было не к кораблю, а от него.

8

Командир не оборачивался на звуки. Алые блики светящихся надписей плясали на пульте. Все механизмы на борт. Стукнула дверь, послышался лязг когтей по звонкому полу — значит, вошел Сто сороковой. Началась подача энергии на центральный левитр. Превосходно. Левитр сожрет уйму энергии, но вблизи заселенного массива нельзя подниматься прямо на планетарных. Вспышка высоко в небе — другое дело, ее примут как молнию или зарницу. Снова стукнула дверь — это козлобородый Девяносто третий. Нулевая готовность.

Командир помедлил, потом рука его потянулась к

тумблеру внутренней связи. Нет. Сначала старт. Он убрал руку.

— Старт! — громко сказал он и запустил антигравитаторы.

Корабль медленно оторвался от поверхности Геи. Командир включил экран внешнего фона. Черная масса без единого огонька оседала под ними. Справа слабо мерцало море. Казалось, дикая, совершенно необитаемая планета оставалась там, внизу. Пожалуй, это полезно посмотреть Двадцать седьмой. Никакого сожаления не остается, когда смотришь на эту безжизненную черноту. Надо, чтобы Двадцать седьмая увидела это.

Он переложил рули на горизонтальный полет и вышел из рубки, даже не взглянув на остальных членов экипажа; поднялся на второй горизонт, нашел нужную дверь.

— Выходи, — сказал он девушке. — Выходи, мы в воздухе.

Она не двинулась с места.

— Гея еще видна, — сказал он. — Черная, ничего не давшая нам Гея. Иди и посмотри на нее.

Двадцать седьмая молчала.

— Я приказываю тебе пройти в рубку!

Девушка не шевелилась, опустив руки и чуть запрокинув голову. Командир переступил порог камеры и подошел к ней.

— Ты... — начал он и поперхнулся: зрачки ее глаз были так же белы, как и все лицо. Их попросту не было...

Он поднял руку и осторожно потрогал гладкий высокий лоб. Пальцем провел по шее, вдоль руки.

Камень.

Он долго стоял, силясь что-то постичь. Потом вздрогнул. О чем он сейчас думает? Этого он не мог понять. Путаница мыслей. Она превратилась в камень? Глупости... Можно принять вид камня, но превратиться в него?..

Девушка протянула ладони вперед — было совсем темно, и если бы не слабое инфракрасное излучение звезд, она вряд ли смогла бы найти ту дорогу, по которой она шла вчера утром вместе с козлобородым провожатым. Впереди еще крутой подъем, острый щебень, попадающий в сандалии, и по краю холма — литые веретенообразные тела кипарисов, нацеленные в ночное небо, точно ждущие сигнала, чтобы рвануться вверх и пойти на сближение с кораблем, бесшумно, воровски уходящим от Геи.

Девушка проводит рукой по шершавой стене. Нащупывает провал двери. Изнутри кто-то рычит и всхлипывает. Можно не бояться, это во сне, но только бы не разбудить никого: ее белое платье видно издалека, за ней погонятся, и она может потерять дорогу. А для нее сейчас главное — не сбиться с пути. С трудом она нашла ту харчевню, у которой вчера они расстались со стариком. Он нырнул сюда, в душный проем слепой двери.

Девушка двинулась дальше, шаг за шагом повторяя вчерашний путь. Вот высокий пень, на который женщины ставили свои кувшины, поднимаясь в гору и отдыхая на половине пути. Вот отсюда она свернула на узенькую тропинку, круто взбирающуюся на холм. Здесь ее встретил раб с тростниковой сеткой для рыбы, и она ускорила шаги, встретившись с ним взглядом.

А вот и вершина холма, и здесь она увидела этого человека.

Было в нем что-то отличающее его от всех других геанитов. Не лицо, лица она не помнила, хотя у нее сохранилось ощущение, что смотреть на него доставляло ей удовольствие. И не одежда — она была обычная и поэтому не запомнилась совсем. Но было в этом человеке какое-то спокойствие, оно проскальзывало и в выражении сжатых губ, и в сдержанной медлительности

легкой походки, и в том, как он обошел ее, не только не обшарив ее жадным взглядом, как это делали все встречные геаниты, а попросту не заметив ее.

Что он делал на холме? Вчера она не могла понять этого. Но сегодня, увидев впереди пепельное свечение предутреннего неба, девушка поняла: он поднимался сюда, чтобы посмотреть, как из-за моря встает далекое негреющее солнце. Вчера она не знала этого, но все равно что-то толкнуло ее, и она пошла следом за этим человеком.

Они петляли по узким сырым лабиринтам приморских улочек. Девушка не знала, удаляются ли они от центра или приближаются к нему. Человек ни разу не ускорил шагов. Так же тихо шла за ним девушка. Но странно, чем дальше продолжался этот медленный спокойный путь, тем больше ее охватывало предчувствие чего-то необычайного, и ей хотелось подтолкнуть его, заставить идти быстрее. Если бы она могла, она заставила бы его побежать. Но ей приходилось сдерживаться и замедлять шаги, и внутри нарастала капризная детская злость, и смятенное недоумение, и отчаянный страх, заставляющий ее не думать о том, что же случится, когда они дойдут до конца пути.

Сейчас она шла быстро, не шла, а летела, безошибочно находя нужные повороты и перекрестки, спускаясь все ниже и ниже и порой чуть не падая в темных проулках улиц, пока руки ее не узнали сыроватый раскол огромного камня, на который опирались ворота, и теплый извив плюща. Ворота эти, неожиданно высокие и громоздкие, удивили ее вчера, — в остальных стенах этой улочки виднелись маленькие калитки, в которые высокий геанит мог пройти только пригнувшись. Вчера она беспрепятственно вошла в эти ворота, но сейчас они были заперты, вероятно, на ночь. Девушка включила левитр. Бесшумно поднялась она над заросшей плющом стеной и опустилась во дворе дома. Там, внутри дворика, было еще темнее, чем на улице, и девушка с трудом

нашла замшелый каменный колодец. Напрягая все силы, она сдвинула плиту, закрывавшую его отверстие, потом сняла с себя пояс с двумя плоскими коробочками — переносным фоном и аккумуляторным левити-ром.

Все это, связанное вместе, с гулким бульканьем исчезло в воде. Ничего больше не осталось от мира Логитании.

Девушка вышла на песчаную дорожку. Рассвет уже занялся, а день разгорается так быстро, что не успеешь оглянуться. Вот и птицы, нелетающие домашние птицы, начали свою переключку из одного конца города в другой. Если и сегодня этот человек захочет посмотреть, как подымается из моря неяркое геанитское светило, то скоро он выйдет из дому.

Девушка оставила слева маленький домик с подслеповатыми узенькими окошками и, прячась, как вчера, за непроницаемой стеной кустов, подошла к чернеющему в глубине сада навесу.

Когда вчера она поняла, что это всего-навсего мастерская одного из тех людей, что изготавливают ненужные предметы для украшения улиц и зданий, ею овладело глухое разочарование. Все время, пока она шла за этим человеком, ее не оставляла надежда, что наконец ей раскроется чудесная тайна отличия геанитов от логитан. Она всем своим существом понимала, что такая тайна есть и главное ее очарование заключается в том, что геаниты для чего-то нужны друг другу. Но до сих пор она сама не была нужна никому, и точно так же и ей не был необходим ни один человек. Все они принадлежали Великой Логитании, их взаимоотношения складывались только из того, что более опытный обязан указать менее опытному, как продуктивнее и результативнее затрачивать свой труд в процессе своего служения.

А здесь все было не так. С первых же своих шагов

по этой странной земле она поняла, что ее обитатели для чего-то остро нуждаются друг в друге, они ищут кого-то, и выбор их свободен.

Мало того, она поняла, что она сама нужна им, нужна буквально каждому, и это стремление превратить ее в свою собственность ошеломило ее и наполнило инстинктивным желанием убежать.

И вот вчера поутру она встретила человека, бежать от которого ей совсем не хотелось. Он был равнодушен и невнимателен. С удивлением отыскивая в себе испуг и не находя его, она переносила на этого человека все то, что она привыкла встречать во взглядах остальных геанитов, и с недоумением понимала, что выражение плотоядной жадности просто несовместимо с его лицом. Это был человек, созданный для того, чтобы владеть целым миром, добрым и сказочным, а, главное — подчинившимся ему добровольно.

Она стояла за его спиной со всей своей сказочностью существа с чужой звезды, со всей своей добротой ребенка, не знавшего самого слова «зло», со всей доверчивой готовностью узнать наконец: для чего же один геанит нужен другому?

Но она не чувствовала себя частицей мира этой Ген, она была чужой, инородной, ненужной.

Вот он сейчас уйдет, а она так и не посмеет окликнуть его.

Но он не уходил. Спрятавшись в виноградных кустах, она смотрела на него, стоявшего на пороге своей мастерской. Осколки камня усеивали пол, вдоль задней стены виднелись вазы и фигуры зверей, вылепленные из теплой лиловато-коричневой глины. В центре стояла статуя, прикрытая светлой льняной тканью.

Казалось, человек силится разглядеть ее черты сквозь грубую ткань и боится этого, словно вот эта самая закутанная в покрывало фигура и была источником его глубоко спрятанного горя. Так вот что заставляло его

страдать — каменный идол, неведомое божество, грубая подделка человеческой фигуры...

Человек сделал шаг вперед, опустил голову, словно запрещая себе смотреть на свое творение, и вот так, не глядя, снял покрывало.

Это не было божество. Это была она, Двадцать седьмая.

Человек опустился на колени перед статуей, прижался виском к ее подножию, и девушка увидела его лицо.

Человек плакал.

Потрясенная, не верящая своим глазам, девушка сделала шаг назад. И еще. И еще. Это мир, недостижимый для нее, мир, где плачут перед каменными изваяниями, казалось, этот мир отталкивал ее, чуткую и непричастную к его тайне.

И тогда она побежала. Задыхаясь от болезненно острого ощущения своей собственной чужеродности, от горя всей этой неприкаянности, невыполнимости только что родившейся мечты, а главное, от ненужности этому единственному во всей Вселенной человеку она мчалась через весь город, чтобы забиться в угол своей каюты на корабле и остаться наконец одной.

Но и там, в одиночестве, успокоиться она не могла. Слишком невероятно было то, что она увидела. Каким образом ее статуя очутилась в мастерской неизвестного скульптора? Девушка знала: на ее изготовление нужно гораздо больше времени, чем те три дня, которые она провела в городе геанитов. Значит, художник изображал не ее. Откуда же сходство? Может быть, кибер-коллектор, собиравший все сведения о геанитах до выхода членов экспедиции из корабля, видел эту статую и предложил Двадцать седьмой принять этот образ?

Нет, такого не могло быть. Киберы не ошибаются. Программа была сформулирована четко: на основе известных данных о внешнем виде женщин данной планеты создать собирательный образ молодой девушки этого



города, отвечающий всем основным требованиям геанитов. Кибер не лепил просто среднего. Если он встречал какое-либо отклонение, недостаток с точки зрения аборигенов, — в своем синтезе он избегал этой черты. Поэтому Двадцать седьмая получилась идеальной девушкой, какую мог только представить себе геанит, точно так же, как Сто сороковой был самым великолепным псом в этом городе, а Девяносто третий — самым жалким нищим.

Но, значит, и тот, неизвестный, тоже задался целью создать образ совершенной молодой женщины?

Но для чего?

И тогда девушка заметила, что «улитки», которую она все утро держала в руке, нет. «Улитка» с номером отдаленной, никогда не используемой камеры. Девушка хотела взять что-нибудь на память из сада этого человека и, сама того не заметив, в минуты смятения выронила крошечный аппарат возле самой статуи.

Вот и хорошо. Ночью цепкие щупальца оплетут ее, бережно поднимут и доставят туда, в одну из резервных камер, куда никто не догадался заглянуть. Она только взглянет на нее, на самое себя — только каменную — и тогда, может быть, ей станет ясна та неуловимая разница, которая заставила этого человека равнодушно обойти ее там, на вершине холма, а потом безудержно, как это можно делать только в одиночестве, плакать у ног ее мраморного двойника.

Камень ему был нужнее человека. Непонятно, но пусть так и будет. Она сама станет камнем, насколько это возможно. Одежда, сандалии, украшения. Это отняло совсем немного времени. Теперь обесцветить свое лицо. Вот так. Теперь их было бы не различить...

И тогда ее снова увидел Командир. Неожиданно он заговорил о Гее. Он заметил, что она успела изготовить новую одежду, но она не стала отвечать на его вопросы, и тогда он начал последовательно и логично доказывать ей всю брэнность и бесполезность геанитского суще-

ствования. И чем дальше лилось его бормотанье, тем четче возникало у нее убеждение: она должна остаться на Гее. Он говорил о далекой и великой родине, но для нее уже существовал всего один уголок во вселенной, за который она отдала бы по капельке всю свою жизнь. Она знала, что вряд ли сможет стать настоящей девушкой Гей — что-то отличает ее от них, может быть, нераскрытая тайна? Да она и не хотела так много. Она согласилась бы стать просто вещью, неподвижной вещью, лишь бы быть нужной этому человеку. Командир говорил о далеких мирах, подчинявшихся Великой Логитании, о бесконечных далях Пространства, — а она тихонько смеялась над ним, над его куцей мудростью и жалела его оттого, что не может рассказать ему все, что переполняет ее. Он даже не поймет, какое это счастье — быть неподвижной вещью, которая один раз — рано поутру — будет нужна тому человеку с холма.

И она уже в тысячный раз повторяла себе: только вещью, которой раз в день, поутру, он будет касаться, снимая с нее покрывало, и возле которой он будет опускаться на дощатый, забрызганный камнем пол, и волосы его будут рассыпаться по белому мрамору подножия... А потом она уставала от непривычных этих грез и только с тоской ждала, когда же Командир кончит, а он все говорил, говорил, говорил, словно все, что он рассказывал, теперь имело к девушке хоть какое-нибудь отношение.

Он кончил, и она сказала ему, чтобы прекратить раз и навсегда:

— Я хочу остаться на Гее.

А потом была камера и грохот предстартовой суеты, и бесконечное ожидание освобождения, и побег, когда она даже не успела взглянуть на своего каменного двойника, доставленного на корабль, а потом ночная дорога над горами, по темному переплетению улиц, до этого дворика, до этого порога.

Она вошла в мастерскую; ноги ее ступили в мягкое. Девушка нагнулась и подняла льняное покрывало. Стремительно светлело, и четкий четырехугольник постамент, с которого бесшумными ультразвуковыми ножами была срезана статуя, белел посередине. Девушка медленно поднялась на него. Теперь это будет ее место. Место вещи. Все утро, весь день и весь вечер она будет мертвой, неподвижной вещью. Только ночью она будет бесшумно выходить в сад, чтобы сорвать несколько плодов и зачерпнуть из колодца горсть ледяной воды.

Стало еще светлее. Наверно, солнце осветило вершины ближних гор. На улице, за каменной стеной, кто-то пронзительно закричал на непонятном, нездешнем языке. Надо торопиться.

Она накинула покрывало и, опустив руки, чуть-чуть запрокинула назад голову — так, как стояла до нее статуя. И всем телом почувствовала, что к этой позе она привыкла, — ведь именно так стояла она всегда перед теми, с кем рассталась навсегда. Стоять ей будет легко. Вот только душно под плотным покрывалом. Теперь надо замереть неподвижно и дышать так, как умеют только логитане, — чтобы не дрогнул ни один мускул. И тепло. Утратить человеческое тепло, стать ледяной, как ночной камень, — так умеют тоже одни логитане. Но нужно успеть, пока он не подошел и не коснулся ее.

В домике хлопнула дверь. Девушка замерла, не шевелясь. Сейчас он пройдет мимо и выйдет на улицу, направляясь к морю. Как жаль, что она не может его видеть...

Но сегодня он не пошел к морю. Она не ждала, она не хотела, чтобы это случилось так скоро, но помимо ее воли шаги стремительно ворвались в мастерскую, неистовые руки с такой силой сорвали с нее покрывало, что она едва удержалась, чтобы не покачнуться, и горячие

человеческие губы прижались к ее ногам — там, где на узкой, еще теплой шиколотке перекрещивались холодные ремешки сандалий.

... Все, поняла она. Все. Не успела, не ждала так скоро. А теперь он поймет ее обман, потому что почувствует теплоту ее тела.

... Не почувствовать было невозможно. Он отшатнулся и вскочил на ноги. Вот и все. Даже вещь, мертвой, неподвижной вещь она не сумела для него стать.

Она вздохнула, тихонечко и виновато, и сделала шаг вперед, спускаясь со своего мраморного подножия.

ГДЕ КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА

Генрих поднялся по ступеням веранды. Типовая гостиница — таких, наверное, по всем курортным планетам разбросано уже несколько тысяч. Никакой экзотики, бревен там всяких, каминов и продымленных антисанитарных потолков с подвешенными к балкам тушами копченых представителей местной фауны. Четыре спальни, две гостиные, внутренний бассейн, рассчитанный на четырех любителей одиночества. Да, телетайпная — она же и библиотека. С видеокассетами, разумеется.

Он вошел в холл. Справа к стене был прикреплен длинный лист синтетического пергамента, на котором всеми цветами и разнообразнейшими почерками было начертано послание прошлых посетителей Поллиолы к будущим:

НЕ ОХОТЬСЯ!

Не пей сырую воду после дождя.

Бодули бодают голоногих!

Пожалуйста, не устраивайте помойку из холодильной камеры.

За гелиобатареями гляди в оба!

НЕ ОХОТЬСЯ!

Жабы балдеют от Шопена — можете проверить...

Какой болван расфокусировал телетайп?
НЕ ОХОТЬСЯ!

Последняя запись была выполнена каллиграфическим готическим шрифтом. Несмыаемый лиловый фломастер.

Этот пергамент привлекал внимание только первый день, да и то на несколько минут. Они не впервые отправлялись по путевкам фирмы «Галакруиз» и уже были осведомлены о необходимости приводить в порядок захламленный холодильник и настороженно относиться к сырой воде. С бодулями же они вообще не собирались устанавливать контакта, тем более что еще при вручении путевок их предупредили, что охота на Поллиоле запрещена.

Стараясь не глядеть в сторону пергамента, Генрих прошел в спальню. Тщательно оделся, зашнуровал ботинки. Что еще? Фляга с водой, индивидуальный медпакет, коротковолновый фон. И самое главное — ринкомпас, или просто «ринко». Все взял? А даже если и не все, то ведь дело-то займет не более получаса.

На всякий случай он еще прошел в аккумуляторную и, не зажигая света, отыскал на стеллаже пару универсальных энергообойм, подходящих для небольшого десинтора. Вот теперь он полностью экипирован. Он подошел к выходной двери, за которой в глубокой мерцающей дали зыбко подрагивали земные звезды, досадливо смел с дверного проема эту звездную, почти невесомую декоративную пленку и, отряхивая с ладони влажные тающие лоскутья, спустился на лужайку, где на свернувшейся траве еще розовели пятна крови. Прежде всего надо было настроить «ринко».

Компас был именной, нестандартный: вместо стрелки на ось надета голова Буратино с длинным красным носом. Нос чутко подрагивал, запахи так и били со всех сторон. Генрих положил «ринко» на розовое пятно и включил тумблер настройки.

Нестерпимое солнце Поллиола, до заката которого оставалось еще сто тридцать шесть земных дней, прямо

на глазах превращало розовую лужицу в облачко сладковатого пара. Сколько полагается на настройку? Три минуты...

Только три минуты. А сколько уже прошло с тех пор, как прозвучал выхлоп разряда?

Этого он сказать не мог. Что-то произошло с системой внутреннего отсчета времени, благодаря которой раньше он мог обходиться без часов — темпоральная ориентация была развита у него с точностью до двух минут.

Здесь что-то разладилось. Виноват ли был жгучий нескончаемый полдень Поллиолы, длящийся семь земных месяцев, спрятаться от которого можно было лишь внутри домика, где с заданной ритмичностью условное земное утро сменяло условную земную ночь и так далее? Или виной было то, что произошло вчера?

Хотя тем условно земным днем, который можно было бы определить как «условное вчера», ровным счетом ничего не произошло. Перед обедом Герда отправилась купаться. Эристави поплелся за ней. Генрих же, убеждая себя тем, что последнее обстоятельство нисколько его не раздражает, пошел в телетайпную и от нечего делать врубил уже отфокусированный кем-то экран. Так и есть, депеша с подопечной Капеллы. Опасения, причитания. С той поры как он покинул свою фирму на Капелле, на этой неустоявшейся, пузырящейся, взрывающейся планете все время что-то не ладилось. Если бы не ценнейшие концентраты тамошнего палеопланктона, каким-то чудом вылечивающие лучевую болезнь в любой стадии, все работы на Капелле следовало бы безоговорочно закрыть. Но пока этот планктон не научились синтезировать, Генриху приходилось периодически нянчиться с Капеллой.

Он пробежал глазами развертку депеши и вдруг с удивлением отметил, что не уловил суги сообщения. Что-то отвлекало. И так с ним бывало именно там, на Капелле, когда внезапно все его тело превращалось в насторо-

женный приемник, пытающийся уловить сигнал опасности. Он знал, что такое бывает с животными — собаками, змеями, лошадьми. В таких случаях, не дожидаясь этой самой тревоги, его рука заблаговременно нажимала сигнальную сирену, и люди, побросав все, прыгали на аварийные гравиплатформы и поднимались на несколько десятков метров над поверхностью, которая уже начинала пучиться, как недобродившее тесто, плевать комьями вязкой зеленой глины, уходить в преисподнюю стремительными бездонными провалами. В таких условиях строить, разумеется, можно было только на гравитационных подушках, а ведь это такое однообразное и неувлекательное занятие...

На Земле это состояние тревоги он испытал дважды: в Неаполе перед четырехбалльным толчком и в Шаршанге перед шестибалльным. С тех пор во время своих недолгих отпусков он забирался только на те планеты, которые были «тектоническими покойницами» — как и Поллиола. И вдруг — сигнал. Что бы это значило?

А что надо отсюда убираться, вот что.

Генрих ударил кулаком по выключателю — экран погас. Ах ты, черт, опять что-нибудь расфокусируется. Но это поправимо. Он выскочил из телетайпной, скатился по ступенькам веранды, помчался по горячей траве. До берега было метров сто пятьдесят, и он отчетливо видел, что на самом краю берегового утеса стоит Эри, глядя вниз, на озеро. Значит, ничего не случилось. Ничего не могло случиться. И все-таки он бежал, не разбирая дороги, и когда выскакивал из спасительной тени под отвесные лучи солнца, его обдавало жаром, как из плавильной печи. На таких местах трава сворачивалась в трубочку, подставляя лучам свою жесткую серебристую изнанку. Бежать по ней было сущей каторгой.

Эристави не обернулся, когда Генрих остановился за его спиной, тяжело переводя дыхание. Ох уж эта восточная невозмутимость! Торчит, не шевелясь, на этом утесе уже битых полчаса в своей хламиде и бедуйском плат-

ке, а под складками одежды четкие контуры портативного десинтора среднего боя. А ведь человеку в Поллиоле ничто не угрожало, иначе она не числилась бы в списках курортных планет. Озера и реки вообще были пустыни, если не считать белоснежных жаб почти человеческого роста. Но все-таки голос предков не позволяют Эристави доверять зыбкости неверной воды, и каждый раз, когда Герда, оставив у его ног свое кисейное платье, бросалась с крутого берега вниз, он не следовал за ней. (Это было абсолютно не нужно, но он стоял на страже.)

Генрих не разделял его опасений и теперь неприязненно созерцал его спину в аравийской хламиде. И что это Герда повсюду таскает за собой этого художника? Раз она объяснила мужу, что Эристави — это тот друг, который отдаст для нее все и ничего не потребует взамен. Но ведь ничего не требовать — это тоже не бог весть какое достоинство для мужчины. Генрих еще раз посмотрел на Эри, на кисейное платье, доверчиво брошенное у его ног, потом вниз. Герда нежилась у самого берега, в тени исполинских лопухов. Дно в этом месте круто уходило вниз метров на двадцать, а то и больше, и, как всегда бывает над омутом, вода казалась густой и тяжелой.

Так вот и заглох он, чуткий звоночек тревоги, а ведь послушайся Генрих голоса своей безотказной интуиции — летели бы они сейчас к матушке-Земле. Если не втроем, то уж вдвоем, это точно.

А теперь он сидел на корточках над розовой лужицей и, хотя «ринко» уже давным-давно настроился, все еще не мог найти в себе решимости подняться и идти выполнять свой долг.

Долг человека — самого гуманного существа Вселенной.

Он выпрямился, машинально достал платок и вытер руки, словно пытаясь стереть с них запах крови.

Правда, этих пятен на траве было не так много, но по их расположению нетрудно было догадаться, что по-

являлись они при каждом выдохе раненого животного, которое должно было истечь кровью в ближайшие часы. На такой жаре — мучительная перспектива. Генрих никогда не баловался охотой, но стрелять ему все-таки приходилось — не на Земле, правда, и, естественно, в безвыходных ситуациях. Поэтому сейчас он думал только об одном: бросить подраненное животное медленно погибать от зноя — это всегда, во все времена и у всех народов считалось постыдным. Он задумчиво глянул на десинтор, перекинул его в правую руку. Заварили кашу, а ему расхлебывать.

Он направился к зарослям, куда вели окровавленные следы бодули. Вот один, другой... Копытца раздвоены как спереди, так и сзади. След странный. Никогда прежде не встречалось таких бодуль — с позволения сказать, двустороннекопытных. Хотя видел он и однорогих, и многорогих. И плюшевых, и длинношерстных. И куцых и змеехвостых. Попадались также плеченогие и винтошение. Что ни особь — то новый вид. Но при всем невероятном множестве всех этих семейств здесь ни водилось ни рыб, ни птиц, ни насекомых. И всяких там членистоногих, земноводных и моллюсков — тем более. Полутораметровые пятнистые жабы, передвигавшиеся в основном на задних конечностях, могли бы составить исключение, если бы не молочно-белое вымя, которое четко просматривалось между передними лапами. И вообще все животные здесь были до удивления одинаковыми по габаритам — их рост составлял от ста пятидесяти до ста восьмидесяти сантиметров.

И похоже, что здесь совершенно отсутствовали хищники:

Все эти кенгурафы и единороги, гуселапы и бодули, плешеврюхи и жабонды, которым люди не успели дать хоть сколько-нибудь научнообразные определения, а ограничились первыми пришедшими на ум полусказочными прозвищами, между тем заслуживали самого пристального внимания уж хотя бы потому, что они умудрялись

безболезненно переносить не только двухсотдневный испепеляющий жаркий день, но и столь же продолжительную ледяную ночь.

Генриху, хотя он и не был специалистом по интергалактической фауне, не раз приходила в голову еретическая мысль о том, что Поллиола начисто лишена собственного животного мира, и все это сказочное зверье привнесено сюда с какими-то целями извне, тем более что следы пребывания здесь неизвестной цивилизации налицо: Черные Надолбы, радиационные маяки на полюсах и все такое. Вот только что здесь было создано — полигон для проведения экологических экспериментов или просто охотничий вольер?

И пока он теоретически склонялся к первому, Герда решила практически узаконить второе.

Каприз этой очаровательной соломенной куколки — что значил перед ним мир какой-то захолустной Поллиолы? Ведь главное — это то, что беззащитное мифическое зверье обеспечивало ей поистине королевскую охоту!

Генрих передернул плечами, словно сбрасывая с себя всю мерзость сегодняшней ночи. Как там с ориентацией? Он положил на ладонь легкую черную коробочку, и носик-указатель безошибочно ткнулся туда, где заданный ему запах был наиболее свеж и интенсивен. А теперь — только бы не было дождя.

Он прошел по следу до самого края лужайки, давя рифлеными подошвами тугие трубочки свернувшейся травы — от капель крови она пожухла и скукожилась, как от прямых солнечных лучей. Уж не ядовита ли эта кровь?.. А, пустое! Предупредили бы, в самом деле. Он дошел до «черничника» — молодая поросль этих исполинских деревьев (а может — кустов?) окаймляла лужайку, щетинясь черными безлистными сучками, ломкими, как угольные электроды. Да, в таких джунглях не разгуляешься, так что бодуля не могла уползти далеко. Вот и обломанные сучки — сюда она вломилась. Он заглянул в просвет между сучьями — вниз, на рыхлой и

совершенно голой почве отчетливо обозначалась ямка, где упала бодуля, и дальше — неровная борозда, уходящая в глубь зарослей. Справа от борозды монотонно розовели пятна крови. Уползла-таки. И теперь ему нужно идти по следу. А может, все-таки послать Эристави добить животное? Он не только художник, он и охотник.

Но Генрих знал, что, пока он находится здесь, на Поллиоле, ни один из этих двоих больше не получит в руки оружия. Так что придется все заканчивать самому. Он бросил последний взгляд вниз, на ямку, и вдруг среди сбитых сучков заметил что-то чуть поблескивающее, свернутое спиралькой... Рога. Небольшие, изящные рожки... Это ж надо умудриться — одним выстрелом сбить оба рога. А, не это сейчас важно, главное — потопиться, а то она заползет невесть куда.

Он обошел стороной заросли черничного молодняка и некоторое время двигался по какой-то звериной тропе. Понемногу заросли стали реже и выше — кроны над головой сплетались, образуя сплошную темно-оливковую массу, и внизу можно было идти даже не нагибаясь. Генрих проверил направление по «ринко» — все правильно, он идет наперерез движению раненого животного, и если оно успело проползти вперед, то след должен вот-вот показаться. Прозевать он не может, земля, несмотря на жару, мягкая и влажная, ну просто мечта для следопыта-новичка. Да вот и следы. Только вот чьи следы? Не бодулины же в самом деле! Он хорошо помнит ее след: копытце, раздвоенное как сзади, так и спереди. А тут когтистая четырехпалая лапа. И зеленоватая слизь в углублениях почвы и на древесных корнях.

Объяснение тут могло быть только одно: кто-то цепкий и скользкий, словно громадный ящер, полз прямо по следу раненой бодули, не отклоняясь ни на дюйм. Зачем?

Впрочем, это ясно. Желаемая развязка наступит даже раньше, чем он попытается вмешаться. И почему на

Поллиоле не должно быть хищников? Пусть не опасных для человека, но — хищников?

Он уже хотел повернуть назад, но что-то его остановило. Может быть, мысль о тех, что оставались там, в ночном коттедже — ведь чем дольше он будет отсутствовать, тем больше надежды на то, что они догадаются покинуть Поллиолу до его возвращения и тем самым избавят его от тягостного диалога. И, кроме всего прочего, оставался долг перед бодулей, долг, который он сам наложил на себя. Долг требовал однозначно убедиться в том, что эта злосчастная коза убита или покончила счеты с жизнью иным способом. Иначе до конца дней своих будет он чувствовать свою вину. И потом его разбирало любопытство — ящеров они не наблюдали еще ни разу. Он поставил десинтор на предохранитель и двинулся дальше по жирному поллиольскому чернозему. Удивительно он плодороден на вид, и как-то странно, что из него не торчит ни мелкой травки, ни мха. Одни литые, непоколебимые стволы совершенно одинаковых деревьев.

Время шло, и Генрих чувствовал, что начинает раздражаться. Влажная атмосфера тенистых джунглей отнюдь не располагала к быстрой ходьбе. Однако каков запас сил, да и крови у здешних тварей! Или бодулю подгоняет страх перед преследующим ее ящером? Да и ящер ли это?

Это был ящер, и в просветах между черными гладкими стволами Генрих наконец разглядел это странное, нежно-зеленое тело. Он напоминал огромного панголина, только уж больно неуклюжего; крупная грубая чешуя тускло поблескивала, когда на нее падал редкий солнечный зайчик. Двигался панголин и вовсе несуразно, как человек, имитирующий на суше плавание на боку. Генрих рискнул приблизиться, но панголин повернул к нему заостренную морду, зашипел — черный узкий язык свесился до земли. Черт ее знает, эту тварь, может быть, она ядовита...

Генрих решил обогнать своего конкурента. Он уско-

рил шаг и, держась на приличном расстоянии, короткими перебежками обошел ящера и двинулся вперед как можно быстрее, стараясь снова выйти на след бодули. Если верить не подводившему раньше чувству ориентации в пространстве, то подранок вел его по плавной дуге, чуть склоняясь влево. Значит, след будет вон за теми деревьями. Он присмотрелся к посветлевшим стволам и чертыхнулся: вот напасть, огуречные пальмы! Мало того, что они почти не дают тени, но к тому же и ходить под ними практически невозможно. Россыпи лиловых огурчиков — чтобы поставить ногу, нужно прежде разгрести целую грудку этих плодов. А чтобы найти след, как бы не пришлось встать на четвереньки.

Это предположение заставило его еще раз выругаться про себя и полезть в карман. Совсем забыл про «ринко». Тоже мне охотник!

Он щелкнул затвором, и блестящая игрушечная головка завертелась вокруг оси, отыскивая точку, откуда шел заданный запах. Сейчас он уткнется в грудку аметистовых плодов... Ничего подобного. Носик прибора точно указал вправо, где должен двигаться зеленый панголин. Генрих встряхнул «ринко», снова спустил затвор — носик неуклонно тяготел к ящеру.

Так. Приборчик спонтанно переориентировался на другой запах, следовательно, придется положиться на естественный индикатор — чутье хищника, который сам приведет охотника к намеченной жертве. Надо только держаться не очень близко, вдруг этот ползучий гад обладает маневренностью яванского носорога, который тоже на первый взгляд кажется неповоротливым...

Но панголина пока не было видно, и он не торопился выбираться из-под тенистых деревьев на эту огуречную поляну. Генрих присел, вытирая пот. Ох, до чего же противно! Изменил своему золотому правилу — никогда не заниматься не своим делом. И — вот вам. Болтайся в этой тропической бане, тычься в след, как фокстерьер. А там, позади, в прохладной тиши земного пространства

и времени, ограниченного стенами их домика, уже потускнели призрачные заоконные звезды, и крик магнитофонного Шантеклера возвестил приход зари... Пастораль! А что? Да, да, пастораль, и втайне ему хочется туда, назад, во вчерашнее утро, когда еще ничего не случилось и ничто не обещало случиться.

Он недобро усмехнулся собственным мыслям: вчера, когда ничего еще не случилось.... Оказывается, он уже обзавелся точкой отсчета времени! При одном воспоминании о тиши и прохладе вчерашнего утра струйки горячего пота еще проворнее побежали у него по спине, и пришлось почесаться лопатками о графитовую древесную ветку. Так что же там было вчера утром?

Да ничего особенного. В ожидании традиционного парного молока Генрих с Эристави сидели на тенистой лужайке в легких плетеных креслах. Да, все было так, как и каждый день.

Герда вынырнула из зарослей, волоча за собой на белом пояске некрупного упирающегося единорога.

— Одного зверя таки заарканила, — констатировала она и без того очевидный факт. — Больше нету, кругом одни жабы. И все трутся о деревья. К чему бы это?

— К дождю, — отозвался Генрих.

Вероятно, он сказал это так, занятый собственными мыслями, но тем не менее это было похоже на истину. Дней десять назад, перед первым и единственным дождем, на местную фауну напала повальная почесуха: и единороги, и гуселапы, и бодули всех мастей оставляли клочья своей шерсти на прибрежных камнях, стволах исполинского черничника и даже на углах их коттеджа. Жабы, кстати, страдали меньше остальных. То, что они снова стали сходить к озеру, тоже предвещало дождь, и не просто дождь, а тропический ливень, который, еще не достигнув земли, будет скручиваться в тугие водяные жгуты, способные сбить с ног мастодонта; через десять минут после начала дождя по размытым звериным тропам уже помчатся ревущие потоки, и полиловевшие от

холода жабы будут прыгать с нижних ветвей в эту мутную стремительную воду, которая понесет их прямо в озеро...

— Сходи за хлебцем, Эри, — попросила Герда, — а то эта скотина и минуты спокойно не простоят.

Эри проворно сбегал на кухню, выгреб из духовки еще теплые хлебцы, но обратно на лужайку предусмотрительно не пошел, памятуя о пристрастии некоторых рогатых к голым ногам. Он высунулся из кухонного окна, подманивая единорога только что отломленной дымящейся горбушкой.

— Не давай скотине горячего, — велела Герда.

— Ты полагаешь, что трава на солнцепеке холоднее? — Он все-таки подул на хлеб, потом обмакнул его в солонку. — Ну, иди сюда, бьяша!

Единорог дрогнул ноздрями и потрусил за подачкой, проворно перебирая мягкими львиными лапами. Герда догнала его и, когда он тянулся за горбушкой, ловко подсунула под него ведерко. Зверь жевал, блаженно щурясь, и в подойник начали капать первые редкие капли. Герда, придерживая ведерко ногой, принялась чесать пятнистый нерпичий бок — единорог фыркнул, в ведро ударили белоснежные струи. Это животное не нужно было даже доить — оно отдавало избыток молока абсолютно добровольно. Герда выдернула ведерко, нацедила молока в кружки, положила в маленькие корзиночки по теплему хлебцу, угостила мужчин. Потом скинула туфли и забралась в свою качалку с ногами.

— А ты что, постишься? — спросил ее Генрих.

— Как-то приелось. Да и жарко.

Она не очень-то дружелюбно следила за тем, как мужчины завтракают. Когда кружки опустели, она подождала еще немного и кротко спросила:

— Ну и как сегодня — вкусно?

— Как всегда, — отозвался Эри. — Бесподобно.

Генрих снисходительно кивнул, стряхивая крошки с бороды.

— Тогда будь добр, Эри, — попросила Герда каким-то особенно страдальческим тоном, — достань мне из холодильника одну сосиску. Там на нижнем этаже открытая жестянка.

Эри, расположившийся было на кухонном подоконнике рисовать все еще пасшегося внизу единорога, кивнул и исчез в глубокой прохладе холодильного подвала. Наконец он снова появился в проеме окна, шуганул единорога и протянул Герде вилку с нанизанной на нее четырехгранной сосиской.

— Благодарю, — сказала Герда с видом великомученицы.

Все последние дни она демонстративно питалась ледяными сосисками.

— Между прочим, забыла спросить, — продолжала она каким-то подозрительно невинным тоном, — а вчера молочко от нашей коровки было не хуже, чем обычно?

Мужчины недоуменно переглянулись — вроде бы нет, не хуже.

— А это было жабье молоко, — сообщила она, помахивая вилкой и наслаждаясь произведенным эффектом. — Это вам за то, что вы кормите меня всякой консервированной пакостью.

Эри просто онемел. Дело было не в том, что именно она сказала — главное, что она так говорила со своим мужем. До сих пор он был для нее неоспоримым господином и повелителем — еще бы, сам Кальварский, гений сейсмоархитектуры, величайший интуитивист обжитой Галактики, без которого не возводился ни один город в любой сейсмозоне!.. И миловидная дикторша периферийной телекомпании «Австралиф», обслуживающей акваторию Индийского океана. Семь лет ничем не омраченных патриархальных отношений, и вдруг...

— Ты просто устала от безлюдья, детка, — сказал тогда Генрих. — Давай-ка собираться на Большую Землю.

— И не подумаю, — возразила она. — Я еще не взяла от Поллиолы все, что она может дать...

Он и сейчас пил бы свою утреннюю кружку молока — от жабы ли, от единорога, не все ли равно, вкус одинаковый. Если бы не охота!.. И не сидел бы в этой лиловой огуречной россыпи, тупо глядя слипающимися от усталости глазами на появившегося из-за деревьев нелепо ковыляющего панголина. Явился-таки искомый гад. На этот раз придется пропустить тебя вперед. Валяй. Догонишь бодулю (не может же она удирать без остановки!) — тогда можно будет выстрелить поверх твоей головы. Не бойся, десинтор не разрывного действия, без обеда ты не останешься. А опередить тебя надо из соображений гуманности...

Генрих отступил за огуречный ствол и подождал, пока ящер, по-прежнему двигаясь судорожными толчками, прополз мимо. Выйдя из-за дерева, Генрих с удовлетворением отметил, что панголин проделал в россыпях огурцов заметную борозду — не надо разгребать пупырчатые плоды, чтобы найти след с четырехпалой лапой.

Сколько он шел, осторожно ступая на панголиний след — полчаса или полдня? Убийственное однообразие колоннады растительных монстров могло усыпить на ходу. И усыпляло.

Из этого полудремотного состояния Генриха вывело падение. Под ногой хлопнул раздавленный огурец, и он почувствовал, что лежит на боку и в левой кисти нарастает боль. Ящер обернулся, прошипел что-то на прощанье и исчез как-то особенно неторопливо. «Погоди, гад ползучий, — невольно пронеслось в голове, — я ж тебя догоню... Вывихнуть руку — это тебе не десинтором по боку». Он вдруг спохватился. Сейчас выходило, он гнался уже не за бодулей, а за этим вот зеленым выползком, и то чувство досады, нетерпения и собачьей тяги вперед, по следу, и есть, вероятно, атавистический охотничий инстинкт, в существование которого он до сих пор не верил.

Он положил десинтор на колени, выдернул из медпакета белую холодную ленту и наскоро перетянул кисть руки. Поднялся, поискал глазами — здесь растительной зелени не было, так что поблескивающую салатную чешую панголина он должен был усмотреть издали. Так ведь нет. И непрерывно прибывающая огуречная каша уже затянула след. Генрих выругался, засек направление по «ринко» и медленно двинулся дальше, разгребая огурцы. Он упал еще раз четыре, и последний раз — на больную руку. Мелькнула мысль — а не послать ли эту затею к чертям и не вызвать ли аварийный вертолет? Но тот же новорожденный охотничий инстинкт не дал этой мысли овладеть усталым, обмякшим телом. Он шел и шел, и когда впереди наконец тускло блеснуло слизистое тело панголина, он увидел в просвете между деревьями беспорядочно валяющиеся огромные ржавые трубы. Об одну из них самозабвенно терся ящер.

Генрих, стараясь не шлепнуться, осторожно приблизился. Ящер повернул к нему внезапно потолстевшую морду, встряхнулся, так что с него слетело несколько крупных чешуек, и с завидной легкостью юркнул в трубу. Через некоторое время он показался из дальнего ее конца, пересек чистое пространство — огурцов стало меньше — дополз до следующей трубы, почесался и влез в нее. С третьей трубой процедура повторилась. Ящер был уже довольно далеко, и Генрих обратил внимание на то, что после пребывания в каждой из труб ящер как бы розовеет. Он подошел поближе и поднял тяжелую, сладонь, пластинку чешуи. И вовсе это была не чешуя, а слипшийся тугим конусом клочок шерсти бодули. Налет, покрывающий жесткие, утончающиеся к концу ворсинки, делал их зеленоватыми. Они пахли кровью.

Но ведь этого не могло быть! Генрих потряс головой. Такая трансформация, всего за несколько часов... А что толку размышлять, предполагать. Надо просто-напросто догнать животное, подстеречь на выходе из очередной трубы, и все станет ясно...

Пятнистое, зеленовато-розовое тело, похожее на исползинского аксолотля, мелькнуло и исчезло в коричневом жерле. Но дальше трубы шли навалом, в три-четыре наката. Трубы? Он наклонился, потрогал. Ну, естественно, никакие это не трубы — свернутые пальмовые листья, причем каждый с хороший парус. Вероятно, таков уж был жизненный цикл этих необычных деревьев — сначала опадали листья, потом из верхушки ствола начинали высыпаться семечки, то бишь огурцы. Он взобрался на одну из этих гигантских «сигар» — ничего, выдержала. Но стало хуже, когда «сигары» пошли штабелем — он поколебался немного, потом все-таки полез в отверстие. Это была не та труба, через которую проползло животное (Генрих уже не рисковал называть это существо ни бодулей, ни панголином). Преодолев препятствие, Генрих растерялся: впереди был сплошной завал. Вызывать вертолет бессмысленно — «ринко» не возьмет след с высоты птичьего полета.

Он снова протиснул свое тело в потрескивающую трубу.

Часа через два он порядком обессилел. Подполз к выходу из очередной трубы, но вылезать не стал, а перевернулся на спину и блаженно вытянулся. Труба была шире предыдущих, прохладная и упругая на ощупь. Вот если на такую встать — уже не выдержит, сплуснется. И цвет не ржавый, а серо-серебристый. Как земная мать-мачеха с изнанки.

Сколько поколений резвящихся дачников сменило друг друга на этом курортном становище, и все они заученно повторяли полусказочные названия животных, по числу перевалившие за добрую сотню.

И никому не пришло в голову поразмыслить над тем, а не есть ли это *один-единственный вид* — эдакий млекопитающий хамелеон?

Это озарение сошло на Генриха разом, и он с ужасом и каким-то восторженным изумлением понял, что преследовал не бодую и не ящера — он догонял поллиота.

Самое необыкновенное существо, когда-либо встреченное человеком во Вселенной.

Обессиленный не столько жарой и болью в руке, сколько этим потрясшим его открытием, Генрих все еще лежал внутри «сигары», полуприкрыв глаза и собираясь с мыслями. Догнать этого хамелеона, мимикродона он должен, это просто необходимо, а вот что с ним дальше делать — это будет видно на месте. Ну, выкарабкивайся отсюда, увалень, сказал он себе.

Трубы здесь были звонкие, сухие, больше метра в диаметре — преодолевать их было сушей радостью. А еще через четверть часа и они кончились, и Генрих пошел по земле, устланной опавшими, но еще не начавшими сворачиваться листьями. Естественный ковер был упруг и как будто помогал ходьбе. К тому же на граненых столбах стали появляться еще не опавшие листья, торчавшие так, словно они были поставлены в узкие вазы. Тень под ними была прохладна и кисловата, они источали знакомый запах истертого в пальцах шавелевого стебелька. «Ринко» уже не рыскал, а твердо держал направление — цель была близка.

Генрих прибавил шаг. Теперь он твердо знал, что будет делать: догонит поллиота, на всякий случай накинет на морду петлю, затем завалит на бок и свяжет лапы. А тем временем подоспеет вызванный по фону вертолет. Есть ли в медпакете что-нибудь анестезирующее и парализующее? Ах ты, пропасть, он и забыл, что это «пакет-одиночка». Автоанестезор вкладывается только в «пакет-двойку», когда на вылазку идут двое. Действительно, зачем он одинокому путешественнику? Ведь такого случая, как этот, никто не мог предположить.

Ну, довольно, справимся и без фармакологии. Вот только связать покрепче... Связать? Горе-охотник, он даже не удосужился захватить с собой веревки. Вот что значит браться не за свое дело. Тысячи тысяч раз он радовался тому, что всегда делает только свое дело, и поэтому у него все в жизни получается без сучка и без

задоринки. Строить — это его дело. Вытаскивать из-под лавины зазевавшихся практикантов — это тоже его дело. Сдав то, что практически невозможно было построить, да еще там, где никто и никогда не строил, потом учинять вселенский сабантуй с озером сухого шампанского (весьма произвольное толкование сухого закона, действующего на некоторых планетах) — и это было его дело.

И еще многое было его делом, и только сейчас он вдруг подметил, что в этих самых *своих делах* он не был одинок — как теперь. Их всегда было много — сотрудников, практикантов, друзей, поклонниц...

А он попался, и капкан одиночества захлопнулся за ним, если бы не Эри, он бы давно сказал жене: бежим отсюда. Но перед этим художником он пасовал, играл роль Великого Кальварского... Доигрался.

Впереди послышалось журчание воды.

Он шел и шел, не видя ни реки, ни озера, пока не понял, что журчание доносится снизу, из-под листьев, и странно было идти по этому зыбкому, хлюпающему настилу, но листья вдруг кончились и он оказался по щиколотку в воде. Чистое галечное дно не таило никакой опасности, и впереди, похоже, было мелко. Огуречные деревья, увенчанные парусами гигантских листьев, торчали теперь прямо из воды, и только немногие сохранили около ствола крошечный островок, не более метра в поперечнике. На одном из таких островков что-то мелькнуло, тяжело плюхнулось в воду и поплыло дальше, двигаясь судорожными толчками. Генрих мог бы заранее предсказать, какой вид примет поллиот: да, на сей раз это была жаба, только не привычно белоснежная, а розовато-пятнистая. Может быть, страшная рана на боку, которую он успел разглядеть, несмотря на изрядное расстояние и глухую тень, создаваемую плотно сомкнутыми сверху листьями, затрудняла процесс депигментации? Или поллиот намеренно прибегал к защитной окраске?

Несколько раз жаба подпускала его на расстояние

прицельного выстрела, но в последний момент рябая туша стремительно окуналась в воду, и погоня, которой не виделось конца, возобновлялась во всей своей безнадежности. «Да постой же ты, глупая, — уговаривал ее Генрих не то про себя, не то вполголоса:—Постой! Этот бег бессмыслен и жесток. Если бы у тебя был хоть один шанс, я отпустил бы тебя. Но шанса этого нет. Я вижу, как ты теряешь последние силы и последнюю кровь. Если бы не вода по колено, я давно догнал бы тебя. Так остановись же здесь, в этой пахучей журчащей тени, где только черная колоннада граненых стволов, да мелкая звонкая галька под ногами, да неторопливо струящаяся вода, такая одинаковая на всех планетах. Зачем же возвращаться на сушу, где солнце и нестерпимый зной? Послушай меня, останься здесь...»

Не отдавая себе в этом отчета, он поступал точно так же, как несколько тысячелетий тому назад поступали его предки, охотники древних времен.

«Я не рассчитал наших сил; я ошибся, хотя и мог бы догадаться, что для того, чтобы выжить на вашей нелепой Поллиоле, с пеклом ее дневного солнца и ледяным адом ночной мглы, надо иметь гораздо больше выносливости, чем у земных существ — разумных и неразумных. И вот я, слабейший, прошу тебя: остановись. Если я не догоню тебя, брошу эту затею и оставлю тебя умирать в этом водяном лабиринте, никто об этом не узнает. Никто не будет ни о чем догадываться. Кроме меня самого. Со мной-то это останется до самой смерти моей. И уже я буду не я. Ты прикончишь Кальварского, понимаешь? Вот почему я прошу у тебя пощады. Я взялся не за свое дело, и мне не по силам довести его до конца. Хотя — брался ли я? Оно просто свалилось мне на голову, как снег, как беда. Я уже начинаю лицемерить и перед тобой... Я знаю, за что. Видишь ли, однажды я взял живого человека... женщину... и сделал из нее для себя украшение, безделушку. Так надевают на банкет запонки — красиво, изящно, и главное — так принято. Конечно, так

бывало не раз — мужчина берет в жены женщину, не давая ей взамен ничего, кроме места подле себя. Сколько уж раз так бывало за сотни и тысячи лет! И почти всегда — безнаказанно. Нам прощали, прощают и будут прощать. И меня прощали бы всю жизнь, не занеси нас нелегкая на Поллиолю. Здесь, вероятно, неподходящий климат. Вот и поломалось то, что могло благополучно продержаться не такой уж короткий человеческий век. Мне просто не повезло. И тебе. Расплачиваться придется только нам двоим — мне и тебе. Убивать, знаешь, тоже не сахар, и если бы у меня была возможность предлагать — я выбрал бы борьбу на равных, где или я тебя, или ты меня. Но сегодня выбора нет, и давай кончать поскорее. Я все бреду и бреду по этой теплой водице, и ей конца и края не видно, и деревья пригнулись ниже, и ни одного просвета вверху, и все темнее и темнее, и я опять не успеваю прицелиться, а я уже и на ногах-то не стою, а ведь предстоит еще дожждаться вертолета, и еще как-то пробиваться через эту чашу — резать десинитором, что ли...»

Смутное беспокойство заставило его поднять голову. Темно, слишком темно. Но до здешнего вечера еще много земных дней. Крыша, сотканная из гигантских листьев, всего в трех-четыре метрах нависала над головой. Он таки выискал просвет между этими бархатисто-серыми, словно подбитыми теплой байкой, лопухами, но когда он глянул в эту щель, то даже не понял в первое мгновение, что же там такое. А когда понял, то разом позабыл и свою усталость, и раздражение, да и самого поллиота, упрямо и безнадежно удиравшего от него без малого земные сутки.

Потому что там, прямо над самой листвой, почти задевая ее своим тепло-лиловым брюхом, нависла грозовая туча.

А о дожде на Поллиоле Генрих уже имел представление.

Он попытался сосредоточиться и прикинул: даже с

учетом его ползания на четвереньках в огуречных россыпях, и с преодолением штабелей листовых труб, и со всем этим водоплаванием он проделал за это время не меньше двадцати пяти—тридцати километров. Допотопный вертолетик, приданный их базе отдыха, проделает этот путь по пеленгу за полчаса. Но вот пробьется ли он через грозовой фронт? Скорее всего молнии расколосшат его на третьей минуте. А другого вертолета нет. И ничего более современного здесь тоже нет, потому что существует нелепая традиция: на заповедных планетах пользоваться техникой пещерной эпохи. Да, девственные леса Поллиолы были ограждены от выхлопа струй турбореактивных вездеходов, и за эту бережливость Генриху предстояло расплатиться в самом недалеком будущем...

Из безвыходного оцепенения его вывело усиливающееся журчание. Вода прибывала; видимо, где-то неподалеку дождь уже начался, и через несколько минут эта тихая заводь должна была превратиться в бешеный поток, какой они уже наблюдали десять дней назад. Выход один — взобраться на дерево. И поскорее. То есть так скоро, как это может сделать человек, не имеющий ни веревки, ни ножа.

На вид поверхность ствола была твердой как сталь, но под разрядом десинтора она вдруг с шипом и пеной начала превращаться в кипящий кисель. Ах ты! Вместо ступеньки клейкая промоина. Нет, не выход. Давай, великий Кальварский, шевели мозгами. Ствол отпадает, а листья? Вот один свесился совсем низко, до него метра три. Ни рукой не достанешь, не допрыгнешь. Но можно пробить десинтором маленькую дырочку, а в медпакете еще осталась лента...

На то, чтобы проделать отверстие и закинуть на него бинт с грузиком, потребовались секунды. Генрих осторожно притянул лист к себе, больше всего на свете боясь, что сейчас он отделится от своего основания — нет, обошлось. Он встал на конец листа ногами, провел

ладонью по гладкой поверхности — да, по ней вверх не взберешься. А если разрезать? Точными движениями он рассек лучом левую половину листа, и еще, и еще. Несколько толстых лент, истекающих терпким соком, свесились серебристой бахромой. Так. Теперь связать каждую пару двойным узлом и по этим узлам забраться наверх. Сделано. И уже там, держась за толстенный черенок, Генрих глянул вниз: окрестные деревья торчали из мутной воды. Если его смоем вниз... Он прополз еще немного и вздохнул с облегчением: основания всех черенков, уходя в глубину ствола, образовывали коническую чашу, на дне которой виднелись крохотные, не крупнее фасоли, огурчики. Он успел еще пожалеть о том, что не догадался отрезать кусок листа и прикрыться сверху, когда первые капли дождя застучали кругом с угрожающей частотой. Дерево, на вершине которого он укрывался, было немного ниже остальных, и поэтому вокруг себя он не видел ничего, кроме листьев. Дождь шел сплошной стеной. Розовая молния вспыхнула у него перед глазами, — он присел и невольно зажмурился.

Молнии, прямые, не разветвленные, били под несмолкаемый грохот разрядов. Где-то невдалеке с шумом повалилось дерево, затем другое и третье. Гроза бушевала уже около получаса, и Генрих не смел глянуть вниз, где вода, наверное, поднялась до середины ствола. От усталости и нервного напряжения его била дрожь, под сплошным потоком дождя не хватало воздуха. Если это продлится еще часа два, то он не выдержит. Сползет вниз, в наполненную водой чашу, и никто никогда не найдет его здесь...

А ведь до сегодняшнего дня ему так не хватало именно воды! Удушливый полдень Поллиолы толкал его к озеру: только здесь он узнал, что Герда была неплохой пловчихой. Правда, Генриха раздражало то обстоятельство, что на берегу, как алебастровая колонна, торчал в своей неизменной белоснежной хламиде Эристави. Конечно, наблюдать — это всегда было неотъемлемое пра-



во художника, но уж лучше бы он плавал вместе с ними. Хотя бы по-собачьи. А Герда заплывала далеко, на самую середину озера, а один раз — даже на другую сторону. Именно там они впервые увидели огуречное дерево — громадный, высотой с Александровскую колонну, графитовый стакан. Листья с него уже опали, и прямо через край верхнего среза перекачивались пузырчатые светло-сиреневые огурчики, словно стакан варил их, как безотказный горшок братьев Гримм. Огуречная каша затянула бы весь берег, если бы здесь не паслось великое множество местной фауны, с хрустом уминавшей свежавывавшие огурцы. Они еще долго забавлялись бы этим огородным монстром, если бы глаза Герды вдруг не расширились от ужаса.

Он глянул туда, выше по откосу, и тоже увидел *это*. Они еще несколько минут стояли, читая готическую надпись, сделанную лиловым несмываемым фломастером, а затем тихо опустились к воде и как-то удивительно согласно пересекли озеро.

Все это время на высоком берегу недвижно белела хламида Эристави. Взгляд художника был спокоен, почти рассеян: сейчас, когда рядом с его божественной Гердой был муж, его не пугала потенциальная опасность темно-зеленых озерных глубин, над которыми с легкостью золотистой уклейки скользило светлое женское тело. В других случаях присутствие Генриха как бы не замечалось художником, не принималось во внимание. Их сферы никогда не пересекались — Эристави боготворил Герду и рисовал ее; муж не умел ни того, ни другого. Сосуществование их было мирным, ибо обе сосуществующие стороны добродушно желали своему противнику провалиться ко всем чертям, но не более. Оба были слишком заняты: Генрих — ничегонеделанием, Эристави — созерцанием (в присутствии Герды) и рисованием (в ее отсутствие).

Выжимая волосы и не глядя на художника, Герда прошла так близко от него, что он явственно слышал

звон каждой капли. Следом, посапывая от усталости, тяжело взбирался с камня на камень Генрих. В любом другом случае он попросту прошел бы мимо. Но сегодня был особый случай.

— Странное дело, Эристави, — проговорил он, останавливаясь перед художником. — Там, на другом берегу, могила. Мы ведь не оставляем своих на чужих планетах... Но там — имя человека.

Они возвращались к своему коттеджу, стараясь ступать как можно тише, словно боясь вспугнуть густую жаркую тишину бесконечного полдня. Когда они подходили к дому, внутри его раздался мелодичный удар гонга и благодушный немолодой голос возвестил: «Солнце село. Спать, дети мои, спать. Завтра я разбужу вас на рассвете. Приятных сновидений».

Солнце стояло прямо в зените, и они взбежали по горячим доскам крыльца, ступая по собственным теням, и когда они перешагнули через порог, проемы окон и дверей бесшумно затянулись непрозрачной пленкой. Сумеречная прохлада наполнила дом шорохами влажных листьев, гудением майского жука и мерцанием земных звезд. А там, снаружи, продолжало сверкать бешеное белое солнце и до заката его оставалось еще больше ста земных дней...

Воспоминание о солнце вернуло Генриха к действительности. Озеро, могильный камень с лиловой надписью... Все это приобрело четкость и правдоподобие бреда. Еще немного, и он совершенно перестанет владеть собой. Солнце, надоевшее до судорог, где ты?..

Дождь прекратился, когда он уже терял сознание. Час ли прошел или три — этого он не мог определить. Тучи все так же ползли, чуть не задевая верхушки деревьев, и между ними и туголиственной крышей этого геобичного надводного леса плотной пеленой стояло море испарений. Генрих обернулся, пытаясь сориентироваться, и невольно вздрогнул: еще одна туча, чернее прежней, шла прямо на него. Хотя нет... не шла. Стояла.

Он никогда здесь не был, но сразу же узнал это место по многочисленным фотографиям и рассказам: это были Черные Надолбы, одна из загадок Поллиолы — огромный участок горного массива, без всякой видимой цели весь изрезанный ступенями, конусами, пирамидами, где скальные породы были оплавлены неведомым жаром. До этой чернеющей гряды было совсем недалеко — метров двести, и Генрих, не задумываясь, прыгнул вниз, в мутноватую, подступающую к самой листве воду. Течение подхватило его, понесло от одного ствола к другому; он сэкономил силы и не особенно сопротивлялся. Два или три небольших водоворота доставили ему пару неприятных минут — пришлось погружаться с головой в воду. Он уже начал бояться самого страшного — что он потерял направление и теперь плывет в глубь водяного лабиринта, когда перед ним вдруг черным барьером поднялась базальтовая стена. Если бы не дождь, поднявший уровень воды, эта стена стала бы почти непреодолимым препятствием на его пути. Сейчас же он проплыл немного вдоль нее, отыскивая место, где она шла почти вровень с водой, и наконец ползком выбрался на берег.

И только тут он понял, что больше не в состоянии продвинуться вперед ни на шаг. Даже вот так, на четвереньках. Он лежал лицом вниз, и перед его глазами влажно блестела полированная поверхность черного камня. Пока нет солнца, он позволит себе несколько минут сна, а за это время прилетит вертолет. Он нащупал на поясе замыкатель автопеленга. Контакт. Ну вот, еще минут тридцать-сорок, и все закончится.

Он медленно прикрыл глаза, но темнота наступила раньше, чем он успел сомкнуть ресницы. Сон это был или воспоминание? Наверное, сон, потому что он попеременно чувствовал себя то Генрихом Кальварским, то каким-то сторонним наблюдателем, или вдруг начинал ловить мысли собственной жены — то, чего ему не удавалось в течение всей их совместной жизни. Он слышал ее. Сновидение отбросило его назад, в про-

хладу вчерашней ночи, и южные звезды мерцали в едва угадываемых окнах.

— Оставь нас в покое, — просил он. — Или ты действительно хочешь натолкнуть Эри на мысль о свежем бифштексе?

— Что за пошлость — наталкивать на мысли! Если бы я хотела свежего мяса, то я бы ему так и сказала: поди, застрели бодую и зажарь мне ее на вертеле.

— И подстрелит, и зажарит?

— И подстрелит, и зажарит.

— И на попечении этого браконьера остается моя жена, когда я отбываю на Капеллу?!

— Надо тебе заметить, что ты слишком часто это делал, царь и бог качающихся, сейсмонеустойчивых земель. Слишком часто для любого браконьера — но только не для Эри.

— И его божественной, недоступной, неприкасаемой Герды.

— И его божественной, да, недоступной, да, неприкасаемой Герды.

И тут он услышал не слова, а ее мысли. Какая жалость, повторяла она, какая жалость... Пока все напрасно. Она действительно не пыталась навести Эристави на мысль об охоте — зачем? Она охотилась сама. Но ее охота здесь, на Поллиоле, пока была безрезультатной. Она расставила капкан — цепкий капкан собственного каприза — и осторожно, круг за кругом, загоняла в него Генриха. Он должен был сдаться, сломиться в конце концов — попросту махнуть рукой. Он должен был в первый раз в своей жизни подчиниться ее воле — но с этой поры она не позволила бы ему забыть об этом миге подчиненности всю их оставшуюся жизнь.

Но дичь ускользала от нее, и Герду охватывало бешенство:

— Хорошо! Я больше не прошу у тебя ничего, даже такой малости, как одно утро поистине королевской

охоты. Нет так нет. Теперь меня просто интересует, насколько всемогуще это рабское почитание параграфов и правил и твое твердолобое нежелание поступиться ради меня хоть чем-то. Меня интересует, почему ты, мой муж, не хочешь выполнить мое желание. Эристави смог бы, хотя, насколько я помню, я не позволяла ему коснуться даже края моего платья.

— Потому что это значило бы нарушить закон.

— Да его тут все нарушали! Ты что, не догадываешься? Все, кто приписывал на нашем пергаменте: «Не охоться!» Думаешь, почему? Да потому, что при всей своей привлекательности здешние одры, конечно, несъедобны. Я об этом давно догадалась и, как видишь, мечтаю не о бифштексе...

Он понял ее, почувствовал, как она смертельно устала, и вовсе не от нескончаемого полдня Поллиолы, а от собственного вечного пребывания в двух ипостасях одновременно: Герды Божественной и Герды Земной. Шесть лет назад перед ней встал трагикомический выбор Коломбины — между сплошными буднями и вечным воскресеньем. Она выбрала первое. Но воскресные, праздничные огоньки продолжали дразнить ее из всех углов — и Эри, и не только Эри. Он был самым верным, самым восторженным, самым почтительным. Но были же и сотни других. Тех, что ежедневно видели ее в передачах «Австралифа». Самые сумасшедшие письма она получала с подводных станций. Да и китопасы были хороши — если бы не стойкая флегматичность Генриха, дело давно уже дошло бы до бурных объяснений.

Атмосфера бездумной восторженности — питательная среда, в которой культивируются хорошенькие теледикторши, — незаметно стала для Герды жизненной необходимостью, когда она, на свою беду, случайно попала на глаза самому Кальварскому. И все пошло прахом. Если на телестудии с грехом пополам он еще проходил как «супруг нашей маленькой Герды», то во всей остальной обжитой части Галактики уже она сама была

обречена на вторые роли. И даже на эти роли, рядом с Кальварским, годилась такая особа, которая смотрелась по высшему классу. Это требование было соблюдено, и Генриха больше ничего не волновало: рядом с ним была Герда, а в остальном — хоть трава не расти.

За шесть лет супружества роли не переменялись, почти не изменился и сам Кальварский. Герда знала — что бы она ни сделала, ему все будет безразлично. Она вот так, босиком, может взобраться на Эверест, а он только пожмет плечами.

...И странность его полусна, заставлявшая его дословно воспроизводить все происшедшее минувшей ночью, принудила его словно воочию увидеть... и услышать ее.

— Я жду, — напоминает Герда, и ее свистящий шепот разносится, наверное, по всей Поллиоле. — И я не шучу!

Немигающие, остановившиеся глаза обращены к Эристави. Он знает, что эта женщина не шутит; он знает, что недопустимое произойдет, и не только потому, что так повелела она. Просто слишком долго тянулось другое недопустимое — не имея на то никаких прав, он все-таки находился подле этой женщины. Это не могло кончиться просто так, ничем. Но ведь чудовищные поступки не всегда расшвырывают людей, подобно взрыву — иногда они связывают. Сопричастностью пусть — но связывают... Он поднимает свой десинтор — прицельный двенадцатимиллиметровый среднестанционный разрядник. Он был слишком хорошим стрелком, этот потомок древних охотников, и никогда не пользовался разрывным оружием. Он и сейчас знает, что не промахнется, и если медлит, то только потому, что так и не может решить — все-таки промахнуться ему или точным выстрелом в глаз уложить эту вполне земную на вид оленюшку?..

Но Генрих тоже знает, что его жена не шутит, и этого секундного колебания ему достаточно, чтобы бросить

свое тело вперед, через ступеньки веранды, и он успевает, как успевал везде и во всем. И выбитый из рук Эристави десинтор летит прямо к мольберту, и Генриху не приходит в голову проследить за его полетом, и спохватывается он только тогда, когда жуткая белая молния бьет прямо по дощатым ступеням, и Генрих вдруг понимает, что в отличие от вчерашней ночи Герда стреляет не по белой бодуле, а по нему, и неумело посланные разряды щепят дерево и полосуют сухую траву, поднимая белые клубы терпко пахнущего дыма.

Он рванулся в сторону, чтобы короткими перебежками выйти из зоны обстрела — и наконец проснулся. В узкий просвет между тучами било жаркое солнце, и пар поднимался дымными клубами с полированной поверхности черного камня. Ступени циклопической лестницы уходили прямо в низко мчащиеся облака, и где-то совсем рядом, метрах в пятнадцати над собой, он увидел зверя, на светло-золотистой шкуре которого едва проступали бледнеющие на глазах пятна.

Он вскочил, словно его подбросило. Как он мог забыть?

Он доковылял до первой каменной ступени, оперся на нее грудью и непослушными пальцами попытался нащупать на поясе кобуру десинтора. Кобуру он нашел, но вот десинтор... Неужели вывалился во время прыжка в воду?

От бешенства и бессилия Генрих даже застонал. Каждая новая неудача казалась ему последней каплей, но проходили считанные минуты — и на голову сваливалось еще что-нибудь, похлестче предыдущего. Потерять десинтор!

А поллиот лежал прямо над ним, на полтора десятка ступеней выше, лежал на боку. Приподнялся, пополз вверх. Пятен на нем уже не видно, и сейчас он напоминает бесхвостого кенгурафа масти оленя. А может, и не кенгурафа. Вот переполз на ступеньку выше... еще выше...

Скорее он похож на обезьяну — естественно, ведь для карабканья по скалам это наиболее удобная форма. Правой передней лапой он едва двигает... Выше.... А что, если там — пещеры, скрытые сейчас облаками? Он же заползет черт знает куда, и с его жизнеспособностью будет подыхать без питья и корма много, много дней.

Высота ступеньки была чуть ниже груди, и Генрих взобрался на нее не без труда. Перебрался еще на одну. И еще. Жара и духота. Бешеный стук крови в висках. И тупая боль в вывихнутой руке. Максимум еще четверть часа, и здесь будет вертолет. А пока — не упустить поллиота из виду.

Почему тело поллиота меняет форму? Вероятно, здесь действует механизм, превосходящий по сложности тот, что управляет окраской камбалы. Детали этого механизма, конечно, прелюбопытнейшие — например, как тут, на Поллиоле, обстоит дело с гомеостазисом... Но об этих деталях уместнее будет говорить после того, как они вместе с поллионом доберутся до вершины ступенчатой пирамиды.

Между тем расстояние между ним и его жертвой медленно сокращалось. Это радовало Генриха, но беда была в том, что животное уже достигло последней ступени, и в белесой дымке густого тумана, льнущего к вершине, он старался не потерять контуры неподвижного тела. Неужели дальше — спуск? Тогда надо спешить. Перехватить на гребне. Проклятье, ветер откуда-то появился, сырой, но не приносящий прохлады. Еще шесть ступеней. Пять, четыре...

Неподвижное тело поллиота вдруг ожило. Он поднял голову, уже успевшую обрасти светлой гривой, и не то зевнул, не то просто хотел обернуться к преследователю, но внезапно его тело свела судорога — и он исчез. Впереди не было ничего, только идеальная прямая каменного парапета, через который переливались на Генриха сгустки липкого тумана. Генрих закусил губы,

упрямо мотнул головой и полез наверх. Одолея верхнюю ступень — и чудом удержался: за полуметровым парапетом почти отвесно уходила вниз стена ущелья. Глубину его оценить было трудно — нагромождение черных каменных обломков терялось в тумане.

Генрих сполз обратно, ступенькой ниже... и понял, что теряет сознание.

...Гибкие щупальца аварийных захватов отодрали его от поверхности земли, втянули в кабину вертолета. Он с трудом открыл глаза. Идеальные параллели каменных гряд уходили вниз, ступенчатые маревом испарений. Генрих перевел управление на себя. Вертолет завис неподвижно. Генрих вытащил «ринко» — нет, отсюда прибор направления не брал. Придется искать вслепую. Он плавно развернул машину, отыскивая лестницу. Ее-то найти было нетрудно. Взмыл на гребень, перевалил его и окунулся в ущелье. Лиловатый туман — пришлось снова довериться автопилоту. Наконец машина села на обломок скалы. Генрих выбрался наружу.

Туман стремительно таял, и лучи прорвавшегося сквозь тучу солнца уничтожали его остатки с поразительной быстротой. Влажные глыбы четких геометрических форм были, казалось, заготовлены впрок для какого-то дела, но вот негодились и были свалены за ненадобностью на дно ущелья, которое отсюда, снизу, казалось бездонной пропастью. Под солнечными лучами все вокруг приобрело праздничный вид — и нежно-фиалковое небо, и огромные сверкающие капли на черной, как рояль, полировке камня, и озорное цоканье сорвавшегося сверху камешка...

Он машинально проследил за этим камешком и увидел тело. Поллиот лежал мордой вниз, и широко раскинутые лапы его были ободраны в кровь — видимо, он не падал, а все-таки скользил по слегка наклонной стене, пытаясь уцепиться хоть за какую-нибудь трещинку, и от этого его лапы... Только это были не лапы. Это были израненные окровавленные человеческие руки. И тело,

лежащее на черной шестигранной плите, было телом человека, вот только там, где у Генриха оно было закрыто полевым комбинезоном, кожа поллиота имела цвет и фактуру тисненой ткани. Длинные темно-русые волосы падали на шею, и ветер, поднимаемый медленно вращающимися лопастями вертолета, шевелил прядками этих неподдельных человеческих волос.

Генрих медленно расстегнул молнию комбинезона, стащил с себя рубашку и осторожно, стараясь не коснуться мертвого тела, укрыл голову и плечи этого удивительного существа. Затем он вернулся к вертолету и, покопавшись в грузовом отсеке, вытащил мощный крупнокалиберный десинтор, которым в полевых условиях обычно пробивали колодцы или прорезали завалы. Сгибаясь под его тяжестью, он пробрался между базальтовыми кубами к стене ущелья, где случайно или намеренно отваленный выступ образовывал что-то вроде козырька. Под этим навесом он выжег в камне неглубокую могилу и, удивляясь тому, что у него еще находятся на это силы, перетащил туда укутанное тело поллиота. В яме оно едва уместилось, но для того, что задумал Генрих, больше было и не нужно. Он отступил шагов на десять, с натугой поднял десинтор и, вжав его в плечо, нацелил разрядник на каменный козырек, нависший над импровизированной могилой.

Непрерывный струйный разряд ударил по камню, и мелкое черное крошево брызнуло вниз. И тут случилось то, чего Генрих надеялся избежать — острый осколок полоснул по ткани, укрывавшей лицо поллиота, и рассек ее. Самодельный саван распахнулся и там, под градом черных осколков, вместо головы поллиота Генрих увидел нечто другое. Он всмотрелся. Это было его собственное лицо.

В неглубокой базальтовой могиле лежал не просто человек, а Генрих Кальварский.

Надо было остановиться, выключить разрядник, что-то сделать, но оцепенение, охватившее Генриха, стисну-

ло его со всех сторон и не дало шевельнуться. Вот теперь он понял, что такое — последний ужас. Последний, после которого уже ничего не бывает. Десинтор, сжатый заостренными пальцами, продолжать гнать вверх плазменную струю, и вниз сыпалась уже не щебенка — черные ухающие глыбы рассекали воздух и врезались намертво в стремительно растущую каменную гряду. Над могилой вырос целый холм, а Генрих все еще не мог заставить себя шевельнуться. Лицо, открывшееся ему всего на несколько секунд, было погребено под многотонной насыпью.

И все-таки оно стояло перед ним.

Генрих сделал жалкую попытку внушить себе, что это было обманом зрения, плодом больной фантазии, порожденной душным адом нескончаемого тропического дня.

Но из памяти всплыла могила на другом берегу озера и камень с лиловой надписью на нем. И пожелтевший пергамент, и лиловый росчерк — бессильная попытка если не исправить, то хоть предупредить...

Не охотся. Говорили же тебе — не охотся! Что, ты не охотился? Вынудили тебя? Тоже мне оправдание. Убийство есть убийство. Может, ты скажешь, что рана на теле поллиота — дело рук твоей жены? Но ведь только сейчас, во время этой великолепной охоты, ты понял, что был виноват в том, что она схватилась за десинтор. Нечего оправдываться. Нечего твердить себе, что и в пропасть ты его не толкал, сам сорвался...

Это так. Но там, под камнем, твое лицо. Твое.

Он затравленно оглянулся, и ему показалось, что причудливые камни, полускрытые дымными завитками испарений, хранят в себе отпечатки многоликого мира Поллиолы, мира, так и не понятого людьми, которые с тупым животным упрямством пытались найти на Поллиоле привычные земные законы. И первый закон: «Сохрани себя!»

А они не были подчинены этому страшному, дикому

закону. Способные принять любой облик, они не прикидывались деревом или камнем — не дано им было это умение: хранить себя.

Но, принимая вид своего убийцы, они выполняли другой, высший закон: они оберегали всех остальных. Откуда бы ни появились они на этой загадочной планете, как бы они ни развились, грозить им могло только одно: пришельцы из другого мира. И против этих, несомненно разумных, высокоразвитых врагов, которые могли посягнуть на этот заповедный уголок даже не со зла, а так, из прихоти, ради забавы, — против них у поллиотов имелось одно оружие — аксиома, одинаково звучащая на любом языке Вселенной: «Убивая меня, ты уничтожаешь самого себя...»

Батарей в десинторе иссякла, и каменный дождь прекратился. Волоча ноги, Генрих подошел к свежему кургану, вогнал в рукоять новую обойму и, перекалибровав луч на минимальную толщину, выжег на самом крупном обломке:

ГЕНРИХ КАЛЬВАРСКИЙ

Больше здесь ему делать было нечего. Он доплелся до вертолета, зашвырнул в кабину десинтор и забрался сам.

Он задал автопилоту программу на возвращение и вытянулся прямо на полу кабины. Прохлада и монотонное жужжание так и тянули его в сон, но у него было еще одно дело, последнее на Поллиоле, и он не позволял себе закрыть глаза. Иначе — он знал — ему не проснуться даже тогда, когда вертолет приземлится на поляне перед его домом.

Когда он долетел, полянка, умытая недавним дождем, радостно зеленела еще не успевшей свернуться от зноя травой. Глупый доверчивый поллиот в шкуре единорога пасся там, где недавно алел подрамник со свежим холстом.

В домике никого не было. Лист пергамента, на кото-

рый они давно уже перестали обращать внимание, желтел на стене. Под надписью, сделанной лиловым фломастером, вилась изящная змейка почерка его жены:

**ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА НОЧЬ ЗВЕЗДЫ
ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ!**

Места под надписью больше не оставалось.

Генрих упрямо вернулся к вертолету, достал десинтор и прямо на стене тем же узким лучом, что и на камне, стал писать:

НЕ ОХОТЬСЯ!

И еще раз.

И еще.

ПОДСАДНАЯ УТКА

...Теперь об этом говорили не только они, но еще сотни, тысячи людей на Земле; и не только на Земле — на всех станциях Приземелья; и не только сегодня — все эти последние полгода. Но найти четкое конструктивное решение — что делать? — не мог никто...

— Само слово «невозможно» — это даже не отрицание. Это сигнал! Это — все сюда, все, кто может, кто отважится!

— И у кого на плечах трезвая голова, — мягко заметила Ана.

— Как бы не так! Альфиане с трезвыми головами не летели к нам на помощь, наперед зная, что нет никаких шансов вернуться. Они подчинялись запрету. Но лучшие...

— Безрассуднейшие...

— Стоп! Безрассудство. Безумство. Не в этом ли решение? Ты снимала пси-спектры безрассудных порывов?

— И ты еще спрашиваешь, Рычин! Все равно аль-

фиане в эмоциональном отношении настолько отличаются от нас, что действовали безошибочно — ведь нападения десмодов на человека пока не обнаружено, ни единого случая.

— Ана, золотко мое яхонтовое, как говаривали поэтические предки! Да эти случаи я не собираюсь обнаруживать! Наш Совет по галактическим контактам так боится испортить отношения с Альфой, что всем медицинским и юридическим информаториям был послан запрос в такой беспомощной форме, что отрицательный ответ просто подразумевался сам собой. Альфиане запретили нам вмешиваться — понимаешь, нам, целому человечеству, которое еще совсем недавно было преисполнено такого уважения к себе. Они установили монополию на борьбу с десмодами, а нам оставили места в партере — смотрите, граждане Земли, как умеют бороться и умирать представители высшей цивилизации!

— Но что делать, если они действительно опередили нас? Ты забываешь, что это они поддерживают контакт с нами, а не мы с ними. Ведь у нас кончается только третий космический век, а у них начался двадцать шестой! У нас, конечно, много общего — аппаратура мгновенной связи, методика снятия пси-спектров, медикаментов вон целая куча, космолеты малого каботаж. Все это общее, но все — альфианское, дорогой мой. За девятнадцать лет контакта они передали нам все, о чем мы только смели мечтать, но у нас не взяли взамен ничего, да еще и пригрозили: попробуйте помогать нам — разорвем контакт, только вы нас и видели...

— Но неужели вы там, в своем Совете, — кипятился Рычин, — не можете им намекнуть, что это, мягко говоря, унижительно для нас и что пора кончать этот всегалактический детский сад, где пора кончатся теплые местечко в малышовой группе. Кстати, когда у вас намечено очередное заседание Совета?

— Сегодня, на двадцать три ноль-ноль.

— Внеочередное? Хм, а почему такая спешка?

Ана пожала плечами и поднялась.

— Может, они боятся, что мы до чего-то додумаемся — тогда, значит, нам есть до чего задуматься... А скорее всего они просто проинформируют нас о дальнейшем перемещении зоны защиты — ведь они взяли за правило сообщать нам о всех своих действиях в пределах Солнечной.

— Проинформируют... Как в школе! Но неужели Совет не может...

— Ох, Рычин, ты опять за свое. Да не может Совет, ничегошеньки не может! Вот выполняют они свою угрозу — и отключатся! Так что на заседании Совет ни слова не возразит альфианам, но вот если ты до чего-нибудь додумаешься — ты знаешь, к кому в Совете обратиться: Ван Джуда, Кончанский, Руогомаа...

Члены земного Совета размещались вдоль одной стороны стола, а за противоположной подымался экран, а на нем — изображение точно такого же стола, за которым размещались альфиане. Эффект присутствия был настолько сильным, что Кончанский, сохранивший до седых волос детскую наивность желаний, как-то признался Ане, что его так и подмывает потрогать альфиан рукой. На заседаниях он никогда не расставался с карандашом, делая весьма изящные и слегка шаржированные наброски своих собеседников. Но с недавних пор Кончанский стал рисовать исключительно десмодов. Разумеется, не тех космических чудовищ, которых никто не видел по той простой причине, что все земные и альфианские приборы — электронные, радиационные, гравитационные и псисоративные — не в состоянии были их зафиксировать; нет, он покрывал странички своего альбома набросками вполне реальных южноамериканских летучих мышей со складчатыми, отнюдь не хищными мордочками и перепончатыми крыльями библейских василисков. Правда, маленькие вампиры Кон-

чанского, как правило, напоминали кого-либо из людей, а чаще всего — Косту Руогомаа, старшего штурмана космического флота.

А ведь полгода назад название этих реликтовых животных было известно только зоологам. Человечество было занято совсем другим — за почти двадцатилетний период бескорыстного покровительства альфиан земная наука, техника, медицина, искусство — все это получило толчок. Альфиане появились на Земле как-то удивительно просто, в рабочем порядке; людям даже показалось, что они слегка опечалены, и явное разочарование гостей они отнесли за счет низкого уровня земной техники. Пришельцы непостижимо легко усвоили земной язык — правда, изъяснялись они с экспансивностью, ставшей в тупик даже неаполитанцев и каталонцев. Между собой же они говорили крайне редко, ибо их способ общения лежал в сфере внечувственных контактов, а звуковой язык хотя и сохранился, но служил скорее удовольствием, чем потребностью, — как пение у землян. Пришельцы соорудили на Мальте что-то вроде диспетчерского пункта связи и отбыли так же просто, как и прилетели.

Мальтийская станция раз в два месяца соединяла земной Совет по галактическим контактам с планетой альфиан, она же корректировала посадку альфианских грузовых космолетов. Занималась она еще чем-то, притом весьма интенсивно, но вот тут любопытство землян, удовлетворяемое с избытком, наталкивалось на искусный маневр, с помощью которого альфиане всегда уходили от прямого ответа. А между тем проходили годы; не стало Рейнхарда Сиграма и Романа Ларомыкина — обязательных членов первого состава Совета. На их место пришла молодежь — Исаму Коматару и «смуглая леди гаванских Советов», как прозвал ее Кончанский — Ана Элизастеги, несмотря на молодость, считавшаяся крупнейшим специалистом по пси-спектрам. Дары альфианской цивилизации сыпались на Землю

как из рога изобилия, и альфиане — чуткие, радушные и озабоченные какой-то неведомой людям бедой — все учили и учили людей пользоваться этими дарами.

И, главное, их первый прилет продолжал оставаться единственным. И вот всего лишь полгода назад они сообщили людям, что их продвижение в космическом пространстве ограничивается отнюдь не техническими причинами.

Где-то в черных глубинах Вселенной притаилась колония живых и, несомненно, разумных существ, обладающих феноменальной агрессивностью, существ, смертельно опасных для альфиан. Этих космических вурдалаков люди окрестили десмодами (благо на Земле действительно водились такие маленькие вампиры, питающиеся кровью животных). Увидеть, услышать, почувствовать нападение космического десмода было невозможно — о несчастье узнавали только тогда, когда помочь было уже нельзя. Альфиане укрыли свою планетную систему (вместе с огромным сектором галактического пространства) непроницаемой для десмодов оболочкой пульсирующей защиты. Питали ее гигантские энергетические преобразователи класса «время — пси-энергия», функционирующие на космических буях; но стационарность этих преобразователей делала их непригодными для использования на космолетах, и для того, чтобы обеспечить безопасность одного-единственного перелета на Землю, альфианам пришлось возвести временный коридор пульсирующей защиты, выслав впереди себя армаду кибермонтажников, собирающих преобразователи.

А затем в течение восемнадцати лет общий фронт непрерывной защиты подтягивался до самой Солнечной, пока не закрыл Приземелье — вот, оказывается, какие еще функции выполняла ретрансляционная Мальтийская станция. Узнав об этом, жители Земли, образно говоря, не могли найти слов для выражения благодарности. Но альфиане заявили, что-де не стоит, — все

это создавалось не для людей, а ради свободы дальнейших передвижений самих альфиан, так как космические чудовища никогда не нападали на человека Земли... Как следовало из размещения космических буев, пульсирующая защита укрывала именно ту часть Солнечной, которая была освоена земными планетолетами. И только.

Совещание, созванное сегодня в столь экстренном порядке, поначалу ничем не отличалось от предыдущих: землянам было предложено задавать вопросы, и они, естественно, их задавали.

— Можно ли, простите, непосредственно зафиксировать момент нападения десмоды? — спросил Коматару с той обязательной восточной улыбкой, с которой он обращался к женщинам и пришельцам.

— Что может быть проще! — воскликнул гигант с мускулатурой лесоруба и голубыми волосами Мальвины. — Зафиксируйте мой пси-спектр и выбросьте за фронт защиты. Спектр исчезнет — значит, я съеден.

— А когда-нибудь, простите, имело место такое нападение именно в момент снятия спектра? — настаивал Коматару.

— Нет, не повезло, — дровосек-Мальвина вздохнул.

В устах человека такой ответ прозвучал бы ужасающе.

— А как вообще вы представляете себе механизм воздействия десмоды на человеческий мозг? — спросила Ана.

— На *наш* мозг, — поправила ее черная, как эбен, альфианка.

В первые годы контакта людей очень занимал тот факт, что на заседаниях Совета напротив брюнета обязательно появлялся черноволосый альфианин, напротив японца — лимоннокожий; эта странность объяснилась случайно, когда один из альфиан, обратившись к Ане, сделался вдруг чернее гуталина. Оказывается, жители Альфы не имели не только постоянной пигментации, но

даже черт лица и могли изменять форму ушей или носа в течение нескольких минут: принимать облик, подобный облику собеседника, было для них такой же нормой поведения, как для землян — находить общий тон разговора.

— Механизм воздействия нам непонятен, — вмешался сидевший напротив Косты Руугомаа светловолосый альфианин. — Непонятен и страшен. Мозг умирает мгновенно. Даже через двадцать секунд реанимация невозможна, а следов — никаких.

— И все-таки — симптомы? — не унимался Коматару.

— Да какие там симптомы, — вскрикнула темнокожая альфианка, и из глаз ее не потекли, нет, именно брызнули слезы. — Это смерти! Мы, не видя ее, воспринимаем ее так же, как вы почувствовали бы угасание вашего Солнца. Холод. Мрак. Оцепенение. И — десятые доли секунды. Не помочь! Мы можем все, а тут — не помочь!

— Что же берут десмоды? — спросил Ван Джуда.

— Если бы жизнь как таковая имела материальную субстанцию, то мы бы сказали — именно жизнь.

— То есть пси-энергию?

— Далась вам эта пси-энергия! Никакая она не жизнь, а всего-навсего продукт деятельности некоторых участков головного мозга. Если бы десмоды брали именно это, они подключались бы к отдельным индивидам и благополучно паразитировали на них, оставаясь невидимыми и неосязаемыми. Нам остается только предполагать, что в мозгу существуют поля тончайшей структуры, нам пока неизвестные — ну, совсем так, как вы не подозревали о существовании пси-полей. Нарушая эту тонкую структуру, десмоды вызывают смерть. А пока мы возмемся с грубой механикой на атомарном уровне — биотоки, пси-структуры, норегические потенциалы, — десмоды безошибочно выбирают самых мудрых, самых одаренных из нас. Как?..

— Выбор мудрых и натолкнул вас на мысль о том, что смерть от «перегрузочной амнезии», как вы это раньше называли — нападение?

— Нет. Дело в том, что десмоды имеют одну странность: они никогда не нападают друг за другом — только одновременно. Вот эта синхронность и насторожила нас, иначе мы до сих пор считали бы, что имеем дело с неопознанной болезнью.

Ана незаметно переглянулась с Кончанским — альфиане поделились важной информацией.

— А когда вообще десмоды нападали на вас в последний раз?

— Так на тот наш корабль и напали, на котором мы к вам летели, — как о самом заурядном событии сообщил светловолосый. — Космолет двигался по принципу водомерки — от одного защитного буя к другому. На последнем островке корабль вынырнул из подпространства слишком близко к краю защиты — во время ее пульсации мы оказались за оболочкой... Нас ждали. Не прошло и пары секунд... как трое...

Он не мог дальше говорить. Лица альфиан застыли в таком отчаянье, что неосведомленный наблюдатель мог принять их за учеников-мимов, которые немилосердно переигрывают в этюде «горе».

— Довольно! — воскликнул вдруг самый молодой альфианин, молчавший до сих пор. — Долгое время мы считали «перегрузочную амнезию» просто болезнью, а ведь это и вправду болезнь. Это паралич нашей цивилизации! Как бы ни был велик защищенный сектор пространства, мы в клетке! Нам не остается ничего, кроме борьбы!

Люди молчали. Да и что они могли предложить альфианам?

— Мы не можем противопоставить десмодам оружие, достойное нашего времени и нашего разума, — подхватил председатель Совета пришельцев. — Но мы

не можем и ждать. Мы будем охотиться так, как делали это наши предки: при помощи ловушки и приманки. Соорудить ловушку не так уж трудно: это должна быть спираль, что-то вроде плоской раковины с достаточно большим количеством витков из пульсирующей оболочки. Судя по маневренности десмодов, их размеры невелики. На дальних дистанциях они определенно пользуются нуль-перебросками, но по виткам спирали они будут двигаться с какой-то конечной скоростью. Приманку расположим в центре, и как только нападение совершится, выход из ловушки мгновенно будет перекрыт. Десмод очутится в мешке, и притом на сколь угодно долгое время!

— Но что вы называете приманкой? — осмелился спросить Ван Джуда.

— Великая Вселенная! Он не понял! — воскликнула черная соседка Аны. — Древний закон — жизнь за жизнь, смерть за смерть! В середине раковины будет один из нас, и таких добровольцев у нас уже более полтора миллионов!

— Прибавьте к ним еще и меня, — сказал Ван Джуда.

— Исключено! — затряс головой председатель. — Десмод не пойдет в ловушку за человеком. И тем не менее мы приглашаем вас принять участие в этой охоте. Вы уже знаете, что долгое время ваша планета была, так сказать, подсадной уткой в охоте десмодов на нас: как только у вас разразилась война, потоп, землетрясение, и ужас десятков и сотен людей, этот тысячекратно усиленный сигнал бедствия разлетался по Вселенной, самые молодые и горячие из нас не могли оставаться в бездействии и бросались к вам на помощь. И возле Солнечной их незаметно подстерегали десмоды. В память тех, кто не вернулся, мы просим вас: замани-те, как и прежде, десмодов к Земле. Мы откроем брешь в пульсирующей защите, и десмоды, вообразив, что у вас разразилась очередная катастрофа, ринутся к Зем-

ле, ориентируясь на ваш страх, который вы должны будете разыграть...

— А вы уверены, что мы согласимся на столь пассивную роль? — быстро спросил Кончанский.

— Да. Во-первых, это может приманить в ловушку сразу большое число десмонов. А во-вторых... мы думаем, что для того, кто будет находиться в «раковине», это сократит время ожидания.

На это уж никто из землян не мог возразить.

— Ждите нас через шесть земных дней. — И экран погас.

— Здесь, — кивнул Магавира, делая второй круг над озерком. — А что это за белая пена вдоль берега? Как хотите, на воду не сяду.

Амфибия взяла вправо и пошла над просекой. Два беловатых облака разметнулись в разные стороны; очищенный от многолетней нетронутой пыли, темно-синей посадочной полосой проступил внизу асфальт. Как только колеса коснулись его, Рычин, Кончанский и Альгимантас Ота, которого взяли за исключительное знание местности, сдвинули колпаки кабин и одновременно спрыгнули на асфальт.

— Синхронность, которой позавидовали бы и десмоды, — мрачно прокомментировал Рычин. — Кстати, не проговорись тогда наши старшие братья по разуму об этой синхронности — черта с два мы догадались бы, что искать надо именно здесь. Зато теперь... Минутку, Маг, дай-ка по этому папоротнику из десинтора — там, полагаю...

— Э-э, заповедник ведь! — вмешался Альгимантас.

— Это у нас генетический всплеск, — пояснил Кончанский. — У всех кочевников страх перед пресмыкающимися в крови. Ты сохранил от кочевников что-нибудь, а, Рычин?

— Кроме кочевой профессии — незаурядные внешние данные.

— Гм, а это что?

У подножия двухметровых папоротников валялся желтый круг с изображением чашки и блюда.

— Искомая «Лесная лилия», — пояснил Ота. — Вправо, метров двадцать.

— Не мог сесть на крышу, пилот экстра-класса, — бросил Рычин через плечо Магавире и вломился в заросли.

«Лесная лилия» или, вернее, то, что от нее осталось, открылась внезапно. Круглое здание без крыши, по форме действительно напоминающее цветок, было оплетено цепкими лапами необыкновенно разросшейся малины; в чаше этого деревянного цветка, словно тычинки, торчали замшелые пеньки, бывшие столики с табуретками.

— Воспоминания официантки Алдоны Старовайте, — бодро процитировал Кончанский. — «В тот вечер, как всегда по субботам, танцы начались около семи...» Но, коллеги, где же тут развернешься?

Он попытался совершить изящный пируэт в ритме вальса бостона — «Пьям, па-рар-ра, пьям па-па!..» — и тут же запутался в перехлестнувшей перильца малине.

— Танцевать спускались вниз, на утоптанную площадку, — со знанием дела пояснил Альгимантас. — Там потемнее...

— Значит, мы не можем быть уверенными в одновременности всех пяти несчастных случаев, раз было темно?

— Послушай-ка, старина, — урезонил его Рычин, — будем искать не противоречия, а подтверждения нашей гипотезе. Помните: «Раздался дружный крик всех пяти девушек», — значит, девицы завизжали одновременно, иначе Старовайте с ее обстоятельностью обязательно указала бы на последовательность событий.

— Что ты меня уговариваешь? — пожал плечами Кончанский. — Я-то тебе верю. И Ота верит. Это Совет — тот не поверит.

— Мы сунем под нос Совету данные такой убойной силы...

— Ну и какие данные мы получили сегодня? Случай обычного пищевого отравления, да еще и чуть ли не столетней давности.

— Заметьте — *одновременного отравления*, — вставил Ота.

— И учти, — Рычин поднял палец, — что из всех посетителей «Лесной лилии» эти пятеро были настоящей приманкой для десмодов. Еще бы, участники симпозиума по дезактивации искусственных спутников, когда-то использованных для захоронения ядерных отходов... Запасы той неведомой субстанции, которой питаются десмоды, у этой пятерки были максимальными. Ведь не тронули же они девушек!

— Но-но, — сказал Альгимантас. — Это еще ничего не доказывает.

— Не будем спорить о вкусах десмодов. Пора собираться обратно.

— То есть как это обратно? — всполошился Альгимантас. — А все то, что свалилось на этот уголок в последующие годы?

— Но Зарасайский информаторий не дал больше сведений об одновременных поражениях, — возразил Рычин.

— Зато одновременных с тех пор здесь было навалом — недаром озеро заслужило название «проклятого». Прежде всего — повар той же «Лесной лилии». Спустя полгода после несчастья с радиологами этот молодой здоровый мужчина плеснул себе на ногу горячим супом и упал замертво.

— Совет скажет — болевой шок, — усомнился Кончанский.

— Может быть, в других краях и есть такие неженки, но только не у нас. Тем более что через пару месяцев здешний органист зарулил сюда с шоссе и, не сбавляя

скорости, помчался по прямой, пока не врезался в сосну. Сгорел с машиной.

— Совет скажет — замечтался, — резюмировал Рычин.

— Хорошо, а теннисистка из Тарту — ее нашли в камышах на дне лодки. И снова никаких следов. Солнечный удар, скажете вы? Да, конечно. В октябре. Но если у вас не вызывает подозрений тот факт, что на крошечном пятачке от озера до шоссе — заметьте, не дальше! — за несколько лет произошло до полутора десятков загадочных смертей, то местные жители оказались рассудительнее. Окрестности заброшенной «Лесной лилии» объявили заповедником.

— Минутку! — прервал его Рычин. — У меня мелькнула занятная мысль. Если в последующих трагедиях тоже виновны десмоды, которые раньше никогда не нападали последовательно, то мы имеем перерождение, а вернее — вырождение этих чудищ!

— Да-да, — загорелся Кончанский, — после нападения на людей пятерка вампиров не смогла вернуться в свое логово. Изобретательность они тоже утратили и лопали что попало. Выходит, всемогущими их делал интеллект альфиан.

— Вот именно! И это — главное доказательство того, что десмоды *могут* напасть на человека, когда нет выбора. Ну, Конча, летим в Совет, послезавтра альфиане будут у нас...

— ...Как слышимость? Слышимость, говорю? Когда не везет, так и ее не добьешься. Ну, поздравь меня, золотко мое яхонтовое, мы провалились! Нам-то ясно, что на «Лесной лилии» — это работа десмодов... Что? Совет? Совету это тоже ясно, но... нам дали внеплановую связь с Альфой. И что там поднялось! Эти старшие братья никогда особым воспитанием не отличались, а тут... Мы, видишь ли, лезем не в свое дело, а они остальные «раковины» будут строить в окрестностях Прорцио-

на, а от нас не примут вообще никакой помощи. Они могут... Что делать? Переходим на откровенные пиратские действия. Нет, подробности не могу. А ты как?.. Что — никак? Ты же крупнейший специалист по психоспектрам, как это — не получается? Разве может человек разучиться испытывать страх? Это пожалуйста... хоть землетрясение... хоть взрыв гиперонной бомбы... Опять не испугаются? Ана, не паникуй, вылетай в Мамбгр. Да, подальше от флегматичных европейцев... Да, притащу всех, кто под руку попадется...

Жесткая, не просохшая еще лента раскачивалась на сквозняке, отсвечивала всеми цветами радуги; прозрачный жгут психоративной записи бежал по самому ее краю. На всей Земле нет человека, который хотя бы приблизительно знал, что это такое — психоративная запись. Хоть смейся, хоть плачь — ну совсем как с гравитацией: сколько веков взвешивали все, от мух до слонов, а в физической сущности гравитации разобрались всего два века назад. Так и тут: прибыли с Альфы грузовики, киберы вытащили скромные над вид самописцы, соединенные с бачками, внутри которых по-живому шевелилась лиловая плесень. Самописец подключался к шлему, который достаточно было надеть, как из бачка тотчас же начинала выползать коробящаяся лента, сверкавшая, как старинная чешская бижутерия.

Рычин с эталонными таблицами в руках бродил по лаборатории, перебирая каждую такую ленту. Ана полудремала в кожаном кресле. Кончанский рисовал десмода, похожего на Рычина.

— А это — со стадиона? — спрашивал Рычин.

— С конгресса врачей, — отзывалась Ана, приоткрывая один глаз. — Было сообщено, что над Аляской прорвана защита и четверо погибли.

— И никакого страха? — Кончанский придал десмоду выражение крайнего разочарования.

— Легкий фон. А эти крупные двухрядные зубцы, как у акулы — это профессиональное любопытство. Вот оно в чистом виде. А пленка со стадиона в углу. Там мы тоже оскандалились...

— Ну уж я тебя попрошу! — взвился Рычин. — Я играл левым полуконтактным, и когда мяч подали мне и внимание всего стадиона было приковано к моей персоне — о, какие муки ада я изобразил! Кончанский, скажи, я талантливо изобразил?

— О да!

— Вот! А основные компоненты пси-спектров — любопытство и восхищение. Нет, ошибка была допущена гораздо раньше, когда заседание Совета транслировалось по всей Солнечной. Человечество психологически подготовилось *сыграть* страх, подделать его... Единственный выход — отложить эту охоту, черт побери!..

— Мы этого не сделаем, — отозвался звучный, словно отраженный от металла, голос. — Охота начнется сразу же, как только будет готова первая ловушка, то есть меньше чем через десять дней.

Все невольно вскочили. Когда входил ОН, все превращались в притихших школьников, не справившихся с уроками.

— Мы не выполнили вашу просьбу, — с усилием проговорила Ана. — Ни один спектр, полученный нами, не совпал с вашим эталоном. Вот они, можете убедиться. Поэтому мы и просим у вас несколько месяцев, чтобы у людей сгладилась эта готовность *изображать* страх.

— Нет, — повторил он так небрежно, словно отмахнулся от чего-то несущественного. Казалось, сейчас его больше всего на свете интересуют радужные ленты, которые он сдергивал с проволоки, на которой они сушились, и швырял на пол.

— Это все — в утилизатор. А там что?

В нише, куда он показывал, громоздились плоские коробки.

— Там учебный архив, — пояснила Ана. — Попытки освоить аппаратуру. Здесь — выделение эмоций в чистом виде, здесь — суммарные шумы, в основном уличные, а тут — так, разное.

Альфанин схватил это самое «разное», встряхнул содержимое коробки на пол и уселся на корточках, углубившись в исследование старых, потрескавшихся лент.

— А это что? — вдруг закричал он сердито. — Брак? Или запись через узкие щели? Невероятная чистота! Нет, это не может быть первичным импульсом — явно одна из составляющих, выделенная искусственно... Но как? Мы же вас этому не учили?

— И не брак, и не щели, и не составляющая... — Ана пыталась разобрать условные значки, выцарапанные иглой по краю ленты.

— Да что же это? Что? Что, я вас спрашиваю?!

Но Ана почему-то медлила с ответом и вглядывалась в лицо своего собеседника как-то особенно долго и пристально.

— Запись сделана в вольере с человекообразными обезьянами, — произнесла она наконец. — Реакция на появление змей.

— Но на нашей Альфе нет... э-э-э... альфообразных... — с неожиданной растерянностью протянул пришелец. Лицо и волосы его мгновенно обесцветились, как это бывало тогда, когда альфиане общались между собой на значительном расстоянии. И действительно, прошло около десяти минут, и вдруг в комнату ворвались четверо из тех, что прибыли вместе с ним. Все так же не произнеся ни звука, но ожесточенно жестикулируя, они прямо-таки вырывали друг у друга ленту с удивившей их записью.

— Транслятор! — крикнул кто-то из них.

Приемная кассета транслятора жадно втянула в себя ленту, послышалось зуденье — лица альфиан снова неузнаваемо исказились. Они поголубели, полиловели;

утончившиеся губы были мучительно закушены, кто-то сжал виски кулаками — это было такое невероятное, тысячекратно усиленное сопереживание чужой боли и чужого страха, что Ана не выдержала и вскрикнула.

Кончанский ударил кулаком по клавише транслятора — зуденье прекратилось. Все — и альфиане, и земляне — облегченно встряхнулись, сбрасывая с себя это наваждение.

— Мы сейчас свяжемся с базой, — проговорил один из гостей, — и думаю, что мы воспользуемся аналогичными записями... Правда, эффект был бы во много раз сильнее, если бы поток пси-импульсов непосредственно выходил в космос, а не транслировался по записи.

— То есть перенести клетки с обезьянами прямо в буй?

— Именно! Хотя... животные находятся у нас под охраной?..

— Ну, Совет пойдет на исключение, — сказал Рычин.

— Да, времени у нас и у вас в обрез.

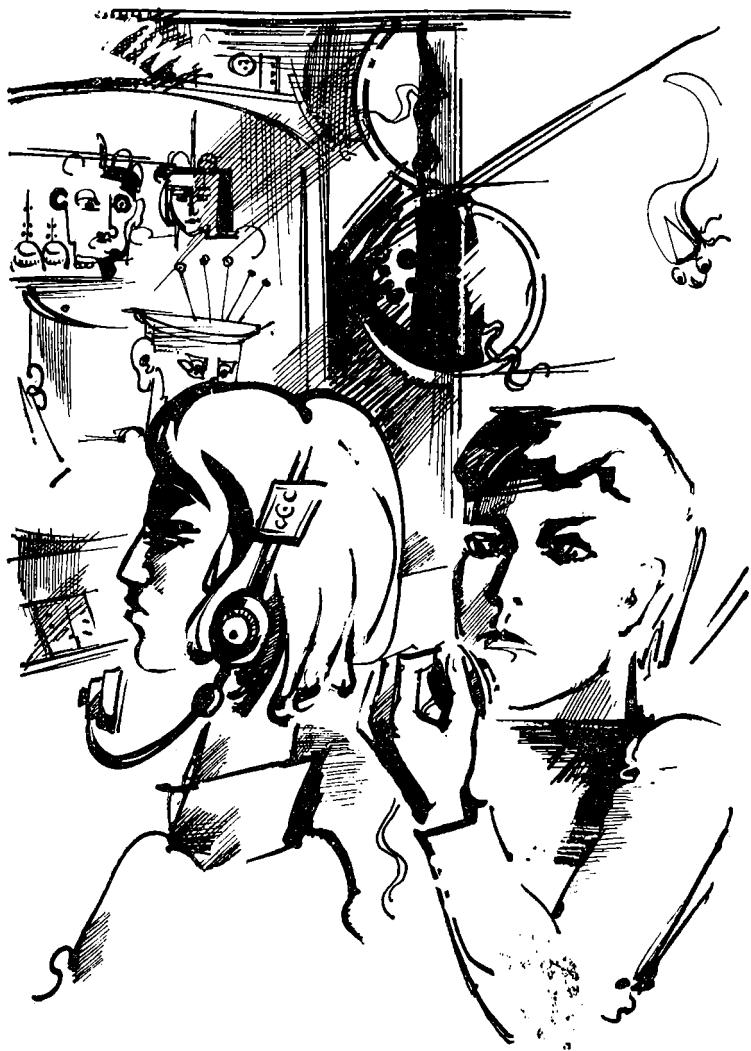
— Если бы вы так не торопились, — начал Кончанский, но дверь за пришельцами уже закрылась, они не простились.

— Ну, у нас-то времени меньше, — Ана ринулась к пульту передатчика. — Я даю запрос на всех обезьян и питонов. Кончанский с Руогомаа готовят к их приему ракетодром в Куду-Кюель. Рычин, ты отвечаешь за пилотов.

— Постараюсь. Прихвачу еще ракет, бенгальских огней и сирен, но боюсь, что кому-то из нас придется остаться в Совете.

— Зачем? — запротестовал Кончанский. — Какой смысл контролировать Совет, если его от буя будет отделять двухдневный перелет?

— Не время спорить, — прервала их Ана, — действовать пора. Тем более что теперь выяснено главное. Что именно? А вот что: когда я держала в руках плен-



ку с «обезьяньей» записью, я уже давно поняла, что это такое, а они продолжали спрашивать. Я постаралась собрать всю свою волю, чтобы усилить свой пси-поток — а они его не приняли! Значит, наших мыслей они читать не могут.

— Это действительно главное, — пробормотал Рычин. — Нас заворожила их способность чернеть и зеленеть. А ведь это бутафория, и только.

— И еще, — сказала Ана. — Хотя они все и выше нас на голову и лапищи у них — будь здоров, они все же слабее нас.

Огромный космический лайнер, флагман Солнечной армады, неподвижно застыл на приколе у только что возведенного буя — с той стороны, которая находилась под укрытием пульсирующей защиты. Через некоторое время он должен был отойти отсюда, унося на своем борту всех членов объединенной экспедиции; впрочем, нет, не всех. На бую навсегда оставался тот, кого и на Альфе, и на Земле называли просто *он*, хотя имя его было всем известно: С Сеге Д. Обитателям Земли, естественно, хотелось бы запомнить не только имя, но и облик этого пришельца, но это желание было невыполнимым, так как альфиане не имели постоянного лица и меняли его непостижимым образом. Да, многое людям было недоступно: вот и сейчас они находились на борту корабля, построенного по альфианским чертежам и из сплавов, найденных альфианами; прикрывала их пульсирующая защита, созданная сетью неземных излучателей. Этот буй был выстроен тоже не людьми — его сооружали автоматы; увидев размеры этого гиганта, люди поняли, почему его можно было построить только в окрестностях Сатурна; из каменных глыб, составляющих верхний разреженный слой кольца планеты, киберы выудили несколько осколков помельче, расплавили их и из этого расплава соткали тончайшее кружево космиче-

ской станции, раскинувшей свои ажурные витки на добрый десяток километров. Плотной была только центральная часть этой спирали, не более шестисот метров в поперечнике. С одной стороны, обращенной к Солнцу, она была выпуклой; в глубине этой выпуклости таились генераторы гравитации, лифт, соединяющий «ночную» сторону с «дневной», и излучатели, обеспечивающие постоянную защиту трюмов. «Ночная» сторона представляла собой плоскость, накрытую сверху прозрачным колпаком, под которым свободно мог бы поместиться лондонский Тауэр. Два внутренних витка спирали помещались под куполом, вдоль стен которого тянулись бесконечные клетки с обезьянами. Дальше, за пределами купола, сплошная поверхность кончалась и начиналось каменное кружево, в причудливый рисунок которого вплетались все последующие витки пульсирующего коридора, широким раструбом открывающегося в Пространство, словно зазывая, заманивая оттуда неведомых грозных чудовищ, которые столько лет оставались безнаказанными и неуязвимыми. И голодными.

А посередине твердого диска, возле центральной башни, виднелось что-то голубое, небольшим озерцом растекшееся по поверхности. Лишь те, кто побывал под куполом, знали, что это не вода, а шелковистая и теплая альфианская трава. Напротив башенки, по другую сторону голубой лужайки, был установлен экран, на котором было видно все, что делается в кают-компании лайнера.

Все это, возведенное в непостижимо короткий срок, было чудом, но все-таки людей больше поражала не техника, а иступленная, фанатичная воля альфиан, решивших во что бы то ни стало очистить космос от невидимых хищников и не желающих откладывать эту фантастическую охоту на десмодов ни на день, ни на час, ни на миг.

Что могли поставить рядом с этой волей и этой техникой люди Земли, которые еще два десятилетия назад

казались себе такими целеустремленными, такими мудрыми, такими всемогущими?

Да только то, что они были людьми.

Четверо альфиан сидели за узким и длинным столом в кают-компаний космолета, совсем как во время межпланетных встреч двух Советов. Только теперь это были не изображения, а живые, вполне реальные великаны. Но сейчас их рост не бросался в глаза, потому что люди не сидели рядом с ними, как обычно, а стояли сзади, за креслами, являя собой то ли бездейственный почетный караул, то ли второй ярус зрителей. Взгляды всех восьмерых были прикованы к круглому, как иллюминатор, экрану. А сколько таких же экранов, установленных на Земле и на Альфе, собрало около себя жителей обеих планет? И на всех этих экранах медленно двигалась к центру, к теплой голубой лужайке, фигура в белом. Жителям Земли она, вероятно, казалась ожившим гипсовым слепком с альфианина — у самих же альфиан такой ассоциации возникнуть не могло просто потому, что они не знали, что такое «скульптура».

С Сеге Д опустился на траву у самого подножия башни, согнул колени и обхватил их руками. Так сидят, часами глядя в море. Но С Сеге Д видел перед собой только экран, с которого смотрели на него не мигая четверо его соплеменников. Перед ним на полированной поверхности стола мерцали две огромные кнопки, как глаза андерсеновской собаки, те самые, что размером с чайное блюдце. Ловушка была наготове, все башенки с генераторами, усилителями и отражателями находились под напряжением пси-токов, но пока еще система раковин была закрыта общей защитой, протянувшейся над всей Солнечной. Все это было как бы сценой, на которой альфиане, участвующие в деле, должны были отдать свою жизнь.

С Сеге Д кивнул, и старший из альфиан положил ладонь на первую клавишу — она слегка вдавилась и затеплилась красноватым тревожным светом. И в тот же

момент над обезьяньими клетками рванули петарды, в каждой клетке отодвинулся заслон, открывающий спрятанным за ним змеям доступ в вольеры.

Исступленные визги обезумевших от ужаса животных, треск магния и неистовое метание огней достигали голубой лужайки, но С Сеге Д не замечал ничего этого. Он сидел, опираясь плечами о чуть вибрирующую стенку генераторной башенки, и ждал, когда старший нажмет следующую клавишу, выпускающую в просторы Вселенной этот поток животного ужаса. Для этого нужно было только спустить фронт общей защиты под поверхность буя, оставляя купол и витки «раковины» в защищенном пространстве.

И вдруг С Сеге Д почувствовал то, что в данной ситуации никак не могло происходить: кто-то тронул его за плечо. Он вскинул голову — над ним стоял коренастый землянин с каким-то напряженным выражением лица. Ошеломленный альфианин попытался подняться, и в этот момент короткий удар сбоку отключил его сознание, и он уже не увидел, как с завидной синхронностью четверо его соплеменников, сидевших за столом, были привязаны к креслам. Кончанский, Ван Джуда, парapsихолог Юнг и Руогوماа встали у стола. Они выжидали секунды, за которые Рычин должен был оттащить обмякшее тело к люку, из которого выглядывал уже бывший наготове Брюнэ, корабельный врач космолета.

— Давай прямо на катер, — шепотом, словно их мог кто-то подслушать, приказал Рычин, втискивая С Сеге Д в узенький люк. — И не торопись приводить его в себя. Ну, пошел...

Он захлопнул ногой крышку люка и побежал назад, на бирюзовую полянку и, догадываясь, какие тексты принимает сейчас фонотайп лайнера как с Земли, так и с Альфы, закричал на бегу:

— Руби канаты, ребята! — И увидел на экране, как широченная ладонь Косты Руогوماа легла на вторую клавишу.

Он знал, что человеку не дано чувствовать пси-процессы, но ему все-таки показалось, что потянуло пронизывающим холодом, словно где-то распахнулась гигантская дверь в ледяную пустоту, и чтоб никто не догадался о его ощущениях, заговорил:

— Пока со мной ничего. Может, мне что-нибудь почитать, чтобы вам было заметнее, когда я... А? Да вот хоть это: «Это было в праздник Сант-Яго, и даже нехотя как-то, когда фонари погасли...» Ломятся в дверь, да? Правильно сделали, что заперли. — Он поискал глазами то место, где совсем недавно трава была примята, но она уже распрямилась, словно минуту назад тут и не сидел альфианин. Ужас пустоты улетучился, и было Рычину спокойно, и впервые за долгое время впереди не маячило никаких дел, и можно было валяться на траве и читать то, что он любил больше всего на свете, и желать только одного: чтобы дверь в кают-компанию открылась и вошла Ана.

И вдруг он увидел Ану Элизастеги, и вовсе не на экране, а здесь, в десяти шагах от себя.

Она стояла и смотрела на него, не шевелясь, и по тому, как были напряжены ее плечи, можно было угадать, что заведенные назад руки ее стиснуты намертво и ногти впились до крови в темные ладони, и так она будет стоять до тех пор, пока это не случится — с ней или с ним, все равно. Он бросился к Ане, совсем не зная, что будет делать, когда добежит до нее, добежит спотыкаясь и цепenea, что-то крича в этом несусветном гаме и ледenea от ужаса не за себя.

— Нас же видят, — проговорила Ана, — нас видят, Рычин...

Они стояли, держась за руки и смотрели друг другу в глаза, каждый миг ожидая, что вот сейчас эти глаза не закроются, нет — они опустошатся мгновенным беспамятством, и каждый беззвучно молился, чтобы это произошло с ним, только с ним...

— Вот прошел год, — прошептала Ана, еле шевеля

полиловевшими губами, и прошел не год, а бесконечность, когда ее губы снова разжались и по одному их беззвучному движению Рычин понял, что она прошептала: «Вот прошло два года...»

И тогда он подумал, что она скажет: «Вот прошло три года». Она больше ничего не успела сказать, глаза ее широко раскрылись, и в них был не страх — недоумение.

— Почему? — крикнула она. — Почему? И кто смог?..

Рычин ошалело повертел головой и вдруг понял, что ад кончился, огни гаснут, вой сирен переходит на басы, и только перепуганные змеями обезьяны продолжают верещать.

Но почему опыт прекратился, и главное — как это удалось сделать? Ведь перекрыть вход в «раковину» после того, как туда попадут десмоды, должно было специальное безинерционное устройство, не подчиняющееся ни людям, ни альфианам. Он обернулся к экрану, там размахивали руками, пытались перекричать друг друга по крайней мере человек пятьдесят — то есть вдвое больше, чем могла вместить кают-компания.

— Вниз, — только и понял из всего этого Рычин.

— Они кричат — немедленно вниз. Случилось что-то экстремальное. — Но Ана упрямо покачала головой. — Это приказ!

И, видя, что Ана добром все равно не сдвинется с места, он схватил ее за плечи, как когда-то (ах, да, два года назад!) тащил обмякшее тело альфианина. И Брюнэ уже отчаянно махал им, высунувшись из люка, и вот они уже все вчетвером (а С Сега Д — на полу, как самый крупный и непоместительный) медленно подруливали на малокабotaжной ракетке к борту космолета.

— Восемнадцать обезьян разом, — захлебываясь от восторга, повторял Брюнэ. — Этого ж никто и представить не мог... Может, это вся популяция десмодов, а?

Тогда просто счастье, что механизм перекрытия «раковины» работал не только от ваших пси-спектров; мы из профессионального любопытства засадили на его вход в биодатчики от обезьяньих клеток. Никто не выполз обратно!

— А, ерунда, — устало проговорил Рычин. — Ты не был на «Лесной лилии», не знаешь. Десмоды, напавшие на людей, не смогли преодолеть даже такой преграды, как шоссе. Можно представить себе, как они деградировали теперь.

— Логично, — сказал Брюнэ. — Ну, подходим, вы бы хоть руки своим пожали, держитесь друг за друга так...

Ана и Рычин, не сговариваясь, подняли сцепленные руки и весьма ощутимо опустили их Брюнэ на шею.

— Вот-вот, — мрачно заметил с пола потерявший былую экспансивность С Сега Д, — вот этого-то мы и не учли — у нас на Альфе такого просто не бывает... — Он задумчиво гладил чернильно-лиловый рубец на шее. — Голову не повернуть...

— А мы вот такие, — сказал Рычин, у которого зубы еще ползгивали от нервного возбуждения. — Мы такие со всеми нашими страхами и рукоприкладством, и некоторой технической смекалкой, и неподчиненностью высшему командованию... если, конечно, всерьез предположить, что высшее командование ни о чем не догадывалось. Люди, в общем. Среди всех известных вам гуманоидов — не сахар, я думаю.

— И все-таки, — задумчиво проговорила Ана, — почему десмоды выбрали обезьян, а не людей?

— Да потому, — с некоторым злорадством пояснил С Сега Д, — что вы настолько боялись друг за друга, что среди тридцати тысяч пси-спектров такого же *нечеловеческого* ужаса вас отыскать не смогли даже десмоды.

— Ну, спасибо, — шутливо поклонился Рычин. — Приравняли...

— Пожалуйста, — расплылся альфианин, все еще поглаживая шею.

Ракета подошла к причальному кольцу, покачалась и замерла.

— Приехали, спасители Вселенной, — сказал Брюнэ. — Вылезайте.

У МОРЯ, ГДЕ КРАЙ ЗЕМЛИ

Когда до поверхности осталось около полутора тысяч километров, Сергей Волохов еще не мог сказать определенно, обитаема планета или нет. Три малых спутника, мимо которых он проскочил, были похожи на искусственные, но и тут он не мог сказать ничего определенного.

Прежде всего сесть, а там будет видно.

Волохов задал программу своему кибердублеру: три витка и посадка на воду в экваториальной зоне. Это если что-нибудь случится с ним, Волоховым, но его корабль еще будет способен подчиниться воле и расчету автомата. Мало ли что бывает, когда садишься на незнакомую планету, пусть вроде бы и похожую на Землю, но все же чужую, да еще садишься в первый раз, если не считать вынужденных учебных посадок на Регине-дубль. Да еще у тебя не работает метеоритный лока-тор и нет связи, а сам ты далеко, немыслимо далеко, так далеко, как никто еще не бывал, потому что бывали самое большее в шестой зоне дальности, а ты сейчас — в седьмой.

Корабль шел по тугой спирали, он не сделал еще и одного витка, но Волохов уже знал, где он попытается сесть. Вон там, на западной оконечности экваториального материка. Там, где желтый язык пустыни выползает к самому океану, размыкая тонкую зеленоватую полоску прибрежной растительности. Удобное место. Если у тех, кто там, внизу, нет еще космодромов, надо будет предложить им построить первый именно здесь.

Волохов усмехнулся: ох уж эти контакты, вожделенные контакты, которыми бредят первокурсники астронавигационных школ. Вот так именно и бредят: сяду, мол, и тут же объединенными усилиями начнем строить космодром... Но ведь прежде всего надо сесть.

Волохов двинул плечами, проверяя в последний раз, удобны ли крепления, и резко бросил машину вниз. Нечего крутить лишние витки, можно сесть и на втором. Планета была молодчиной, она даже не имела ни одного пояса радиации, и обидно было бы нарваться на какую-нибудь каверзу вот сейчас, когда до поверхности каких-то полтора витка, и машина медленно входит в ночь, и ночь эта выгибает навстречу свой пятнистый горб, испещренный мутными растекающимися огнями больших городов.

Вот те на, спохватился вдруг Волохов, а ведь это и вправду города. Огромные, четко спланированные города. Хорош бы я был, если бы сунулся сюда, на ночную сторону, не имея запаса высоты. Надо вылезать на свет. И поскорее, потому что локаторы полетели к чертям.

На дневную половину он выскочил внезапно и тут же повел машину вниз. Вот-вот должен был начаться тот пустынный, хорошо прожаренный экваториальный материк, который он облюбовал для посадки. Волохов снизился до трех тысяч метров и тихо пополз над проступившей под ним поверхностью планеты. Здесь она казалась необитаемой. Все это было прекрасно, он сядет в укромном уголке и мирно починит свои локаторы и фон межпланетной связи, а к тому времени его, повсей видимости, найдут аборигены и он таки посоветует им построить свой первый космодром на этом узком песчаном языке, размыкающем зеленую прибрежную кайму и жадно тянущемся к воде океана.

Волохов сбавил скорость. Если у них имеются средства надземного сообщения, то, возможно, они захотят познакомиться с ним еще в воздухе, хотя бы для того, чтобы указать ему путь на свою посадочную площадку.

Так, во всяком случае, поступили бы мы. Правда, засечь его могли бы только радары — над пустыней висела довольно плотная облачная дымка. Искусственный климат? Гм...

Волохов покосился на заглохшие локаторы, потом отсоединил от них противомерную защиту и перевел ее на ручное включение. Все-таки спокойнее. И нырнул еще на пятьсот метров вниз.

Тонкая пелена облачного марева осталась над ним, и Волохов понял, что желтовато-песчаный массив, растилающийся под ним, мог быть чем угодно, но только не пустыней. Прежде всего эти многочисленные темные полосы, не четкие, а какие-то дымные, расплывчатые. Овраги или каналы. Причудливый геометрический рисунок, в который они складываются, не оставляет сомнений в том, что они созданы не природой. И это вообще не песок. Это желтая растительность, напоминающая земные саванны. Материк, отведенный под плантации, — вот что это. О посадке не может быть и речи, придется тянуть до самого океана и скорее всего садиться на воду.

Вдали, у самого горизонта, неясно обозначилась зеленая прибрежная полоса, и Волохов включил антигравитаторы. Машина медленно пошла вниз, и Волохову стало ясно, что он ошибся и во второй раз: под ним были не саванны, а огромный, раскинувшийся на весь материк город. Невысокие, причудливо распланированные здания, сверху напоминающие иероглифы, соединились друг с другом; но главное, сбившее его с толку, — это был странный, висячий покров на этих домах, перекидывающийся через площади и улицы, сливающийся с безукоризненными прямоугольниками бледно-желтых садов. Это, несомненно, была какая-то цепкая, невероятно живучая и жадная до тропического солнца форма растительности. Было весьма разумным укрыть таким легким, золотистым тентом весь этот материк, если...

Если только это не было одичанием, запустением

мертвого мира. Золотые джунгли, погребаящие под собой брошенные города... Волохов фыркнул.

О посадке надо думать, о посадке. Загадки вымерших материков будут решать те, кто прилетит сюда после него, прилетит в том случае, если он благополучно плюхнет на эту зеленую низину и сумеет починить аппаратуру дальней связи. Волохов снова прибавил скорость, чтобы скорее выйти к океану, но бесконечный изумрудный луг уныло тянулся под брюхом его машины, и он уже начал думать, не свернуть ли ему круто на юг, как вдруг увидел белую полосу прибоя и застывшие в невидимом с высоты движении пепельно-черные волны океана.

Волохов посадил машину метрах в ста — ста пятидесяти от черты прибоя. Около получаса он настороженно ждал, не оседет ли под ним грунт, но приборы упрямо фиксировали и безупречность грунта, и безупречность воздуха, и вообще невероятную кучу безупречностей. Планета, кажется, решила быть умницей до конца. Не торопись, сказал себе Волохов; вот тут-то самое время остановиться и не поверить. Судя по приборам, можно было выходить и без скафандра, да он бы так и сделал, будь он на корабле не один; но теперь, когда посадка прошла так гладко, он не хотел рисковать даже в том случае, когда приборы твердили, что риск этот равен нулю. Все-таки.

Волохов еще раз оглядел всю рубку, выключил освещение и выбрался в шлюзовой отсек. Там, за титанированной дверцей наружного люка, все благополучно, говорил он себе, примеряя защитный биокостюм. Все слишком благополучно... Он отложил биокостюм, достал синтериклоновый скафандр высокой защиты. Эластичная ткань скафандра казалась податливой и непрочной на вид, но Волохов знал, что ни ацетиленовый резак, ни ультразвуковой нож, ни прямой разряд лазера не в состоянии пробить эту гибкую, полупрозрачную пленку. Там, где шлем соединялся с воротником, шло жест-

кое кольцо, и Волохов старательно проверил прочность шва. Соединение было безупречным; Волохов педантично проверил все еще раз и еще, пока не убедился в абсолютной своей неуязвимости.

Корабль его не был десантным ботом. Это был маленький, добротный разведывательный звездолет системы Колычева, способный спускаться на планеты земного типа, но не более. Вездехода в себе он нести не мог, даже самого портативного. Поэтому Волохов твердо решил от корабля никуда не отходить, а только постоять немного на чужой планете — в конце концов, кто бы на его месте отказал себе в этом? Он не стал налаживать систему выносного лифта, а просто спустил аварийную лесенку, по которой и добрался до поверхности приютившей его планеты.

Поверхность эта была ничего себе. Занятная. Насколько занятыми могут быть огромные дюны чистейшего изумрудного песка. «Ай да материк, — подумал Волохов, — ай да расточительная! «Груды золота лежат, и мне лишь одному они принадлежат». Это, конечно, не настоящий изумруд, но соединений меди в этом минерале предостаточно. И какой коэффициент внутреннего преломления! Глаза слепит. И какой нежный, совершенно живой цвет. Надо только быть осторожным со здешней водой. Вон ведь сколько меди. И сколько, должно быть, полиметаллов! Странно даже, что при таком богатстве они не додумались до простейшего летательного аппарата. И при таких городах... Ну, ничего. Мы еще их научим. Мы еще построим им гигант металлургии. И всего-то надо для этого починить фон межпланетной связи.

Волохов повернулся, чтобы забраться обратно на корабль, и увидел, что с дюны, со стороны океана, увязая по щиколотку в зеленом песке, к нему идет босая девчонка. Вся одежда ее состояла из двух кусков белой ткани, скрепленной на плечах камнями, за которые в древние времена на Земле не задумываясь предлагали

половину царства; платье было подхвачено травяным плетеным пояском. На Земле ей дали бы лет пятнадцать.

Она остановилась прямо перед Волоховым и что-то проговорила тоненьким сердитым голоском. Волохов улыбнулся. Она снова заговорила; теперь это были отдельные слова, каждое звучало вопросительно. По всей вероятности, она спрашивала, откуда он пришел. Из какого города, из какой земли.

— Со звезд, — сказал Волохов и указал рукой прямо вверх. Девочка тоже посмотрела вверх и нахмурилась, что-то вспоминая.

— Зендзи? — спросила она неуверенно.

Волохов стоял в нерешительности. Может быть, «зендзи» означало «дух», «божество», а может быть, она просто попыталась повторить его же собственные слова и нечаянно исказила их. Волохов не знал, как объяснить ей, чтобы она позвала кого-нибудь постарше. Не одна же она на этом пустынном берегу, в самом деле. Но она с упорством ребенка пыталась понять самостоятельно, что же это за странный человек, одетый с ног до головы в такую жару. Настоячиво и назидательно, как говорят с куклами, она повторяла два слова. Вероятно, это были одни и те же слова, но каждый раз она произносила их на разном языке. И так десять раз. Девчонка; знающая десять языков?.. Нет, что-то тут не то.

Этот односторонний разговор начинал ей надоедать. Она досадливо махнула рукой и вдруг, шагнув к Волохову, обняла его за шею. Волохов оторопел. Пальцы ее были влажны и от их прикосновения синтериклон космического скафандра тоненько закрипел, как стекло. И тут Волохов почувствовал, как густой и жаркий воздух ворвался под колпак шлема. Руки его невольно дернулись вверх, но девочка его опередила — она приподнялась на цыпочки, потянулась и стащила с него шлем.

Волохов потрогал скафандр. Тонкая, жесткая плен-

ка. Выше — соединительный рубец, который расходится только под действием слабого импульса. Но стык этот цел. Зато еще выше он нащупал тонкий и острый край — синтериклон был разрезан. Синтериклон, который не берет ни алмаз, ни лазер.

— Что у тебя в руках? — крикнул Волохов, совершенно забыв, что она не может его понять, и смешно задирая голову, чтобы не обрезать подбородок о затвердевший по линии разреза край скафандра.

— М? — спросила она.

— Руки! — снова крикнул Волохов и показал ей свои руки — ладонями вверх.

Девочка с любопытством посмотрела на его руки, потом точно таким же жестом протянула свои ладони.

В руках ее ничего не было.

— Ру-ки! — вдруг четко и с той же требовательной интонацией повторила она. — М?

Она подняла одну руку.

— Рука, — сказал Волохов. — Одна рука.

Девочка кивнула, потом поднесла ко рту и поспешила палец. Волохов не успел и глазом моргнуть, как она снова стремительно шагнула к нему и двумя пальцами провела по скафандру — сверху вниз. Скафандр медленно раскрылся и начал опадать на землю. Волохов вытащил одну ногу, другую — скафандр остался на песке.

— М-м, — удовлетворенно сказала девочка. — Рука. Руки.

— Нога, — отважился Волохов, — ноги. Голова, глаз, рот, нос.

Девочка серьезно повторила. Волохов оглянулся.

— Скафандр, — сказал он, указывая на лоскутья синтериклона. — Или, вернее, то, что было скафандром.

Девочка поморщилась. Потом у нее снова появилось то сосредоточенное и упрямое выражение, какое бывает у пай-девочек, разыгрывающих взрослых перед своими

куклами. Она протянула руку, и у Волохова шевельнулось опасение — не вздумает ли она еще что-нибудь с него снять. Но девочка просто дотронулась до его волос и вопросительно глянула на него.

— Волосы, — называл Волохов, — ухо... рубашка... палец... шея... шнурок... часы...

Она уже не повторяла за ним. Рука ее быстро и, казалось, бездумно перепрыгивала с одного предмета на другой, но ни на чем не останавливалась дважды. Вскоре части тела и нехитрая одежда были названы: проверить, запомнила ли девочка этот урок, Волохов не решался. Надо было как-то объяснить ей, чтобы она привела взрослых, но тут Волохов зашел в тупик. Может быть, следовало просто прогнать ее, тогда она волей-неволей вернется туда, откуда пришла, и, естественно, все расскажет. Но игра с незнакомым существом ей, совершенно очевидно, нравилась, и уходить она не собиралась. Волохов решил, что игру придется продолжить. А там будет видно.

— Стоять, — сказал он и вытянулся по стойке «смирно».

— Сидеть, — сказал он и плюхнулся на песок.

— Лежать, — он продемонстрировал.

Девочка посмотрела на него, немного склонив голову набок, потом быстро показала на себя, на него и снова вопросительно хмыкнула:

— М?

Волохов встал. Не понимает. Этого она не понимает. Он стряхнул песок с коленей, на всякий случай сказал:

— Чиститься.

Она снова хмыкнула.

— Нет, нет, это я не для демонстрации. Это я думаю.

— М! — сказала она сердито. Кажется, она сердилась каждый раз, когда он произносил что-нибудь, не объясняя на пальцах значения. Нарушал правила игры.

Он решил сделать последнюю попытку.

— Идти, — сказал он и пошел по склону дюны. — Бежать.

Она побежала рядом. До берега, оказывается, было совсем недалеко — песчаные холмы закрывали его, а он был совсем рядом.

— Океан, — сказал Волохов и протянул руку.

Девочка опять рассердилась.

— Ты чего? — спросил Волохов. — Я, кажется, правил не нарушил. Это действительно океан. По-нашему.

Девочка зафыркала, как рассерженный зверек, и замахала на него руками. Потом сделала несколько четких, демонстративных шагов.

— А, — сказал Волохов, — я вышел из последовательности. Мы проходили глаголы. Идти. Я иду, — он сделал два шага, — ты идешь, — он ткнул в нее пальцем. — Мы идем, — он сделал жест, как бы объединяющий их обоих.

Она остановилась.

— Стоять, — сказала она, опуская руки и забавно задирая подбородок. — М?

— Я стою, ты стоишь, мы стоим. — Волохов усердно тыкал пальцем.

— М, — сказала она удовлетворительно. — Я си-
до, ты сидишь, мы сидим. Скафандр?

— Скафандр лежит, — сказал Волохов. После того, что она сделала со скафандром, он уже ничему не удивлялся. — Он лежит.

— Я, ты, мы, он. Ты — м?

Волохов понял.

— Волохов. Я — Волохов.

— Фират, — сказала она просто.

Она повернулась и пошла к воде. Она села так, что босые ноги ее протянулись на полосу влажного, омываемого океаном песка: в луночках вокруг пяток начала собираться вода.

Волохов сел рядом. Что-то переменялось. Перемени-

лось с того самого мига, как она назвала свое имя. До этого момента Волохов думал только о том, что нужно чинить фон межпланетной связи и девочке нужно внушить, что ему хочется говорить не с ней, а со взрослыми аборигенами, поэтому пусть она идет и позовет их. И еще он старался не думать о своем разрезанном скафандре. А теперь он поймал себя на том, что фон может и подождать, и разговор со взрослыми, разговор по строго выработанной программе, на невероятном гибриде всех земных языков и математики, в муках произведенном неисчислимыми лабораториями «теоретиков первого контакта», — все это неважно, и все это подождет.

А самое важное и самое интересное — это кулачок Фират, в который она успела что-то набрать. Кулачок медленно раскрылся — на смуглой ладонке лежала кучка зеленоватого песка.

— Песок, — несколько разочарованно проговорил Волохов. Он почему-то ждал чего-то необычного и теперь досадовал на свое ожидание.

Фират быстро сжала кулачок и снова его открыла. Песок, видимо, высыпался, и на ладонке остался спрятанный до сих пор камешек. Обыкновенный, серый. Сухой.

— Камень. — Волохов понял, что это просто продолжение урока.

Фират еще раз сжала и раскрыла кулачок — вместо камня лежала раковина.

Волохов заставил себя предположить, что ракушка эта была внутри камня и Фират, сжимая кулак, счистила налипшую на нее шелуху песчаника. Конечно, заставить себя поверить во что угодно здесь, на этом берегу, нетрудно.

Но все-таки камень был куда меньше, чем раковина. Он заставил себя не удивляться и не удивился, когда вместо ракушки на ладони появился дохлый высушенный краб, обрывок водоросли синего цвета и, наконец,

маленькая золотая рыбка, пугливо подрагивающая плавничками. Он так и назвал ее — «золотая рыбка», и Фират тут же превратила ее в черную, потом в белую, и рыбка терпеливо прошла через весь солнечный спектр и в награду была отпущена в море. Затем пришел черед маленьким, не больше мизинца, человечкам; угловатые и условные, они напоминали рекламных гномиков и не имели ничего общего с тем, каким представлялся Волохову Мальчик-с-пальчик.

Фират разгладила складки платья и высыпала человечков себе на колени. Они засуетились, и Волохов с трудом успевал комментировать их действия. Фират ничего не повторяла, только время от времени указывала пальцем на ту или другую фигурку. Если бы только она действительно запоминала все, что он ей говорил, то у нее должен был составиться небольшой, но весьма причудливый словарь.

А может быть, она ничего не запомнила? Может быть, она просто показывала ему свои игрушки?

А если она запоминала его язык, то почему же она не сделала ни одной попытки познакомить Волохова со своим?

Этого минутного раздумья, этой крошечной остановки было достаточно, чтобы почувствовать бесконечную усталость. Волохов вдруг понял, что он уже страшно долго сидит на этом пустынном берегу, обманутый медлительностью здешнего солнца, которое все еще лениво лезло в зенит, в то время как дома, на Земле, уже давно наступил бы вечер.

Он провел рукой по лбу. Это же сумасшествие — столько часов провести под палящим солнцем. Да еще чужим, с неизвестным спектром излучения.

— Жара, — сказал он, обращаясь к Фират, — надо идти в тень. Тень, — повторил он, указывая на синеватый силуэт, разлегшийся на песке.

Фират посмотрела внимательно, потом обвела пальцем контур собственной тени и удовлетворенно кивнула:

— Тень. Хорошо. Вот такая тень — хорошо? — Она раскинула руки, словно крылья, и часто-часто ими замахала.

— Хорошо, — сказал Волохов, далеко не уверенный в том, что она правильно его поняла.

— Зеленая тень — хорошо? — продолжала допытываться Фират.

— Зеленая — хорошо, и синяя — хорошо, и черная.

Фират посмотрела на него так удивленно, что Волохов окончательно уверился во взаимном непонимании. Между тем Фират быстро вложила два пальца в рот и пронзительно, отрывисто свистнула. Волохов невольно усмехнулся — так это было по-мальчишески, по-земному.

Что-то зеленое поднялось из-за дальней дюны и стремительно понеслось к ним. Сначала Волохову казалось, что это — маленький летательный аппарат, затем — что это птица. Когда же оно приблизилось, Волохов увидел существо, напоминавшее ската, — узкое тело змеи, небольшой изящный клюв и метровые полотнища полупрозрачных плавников, превращавших его в плоский четырехугольный коврик с трепещущей бахромой.

Существо неуверенно застыло метрах в двух от них, но Фират хлопнула себя по коленке, как это делают, подзывая собаку.

Существо жалобно пискнуло.

— Он боится, — сказала Фират, обернувшись к Волохову, и засмеялась. — Он боится ты.

Она что-то стала говорить на незнакомом своем языке, говорить ласково и наставительно, как все это утро она говорила с Волоховым.

Существо еще чаще замахало краями своих плавников — Волохов не решился назвать это крыльями — и, робко приблизившись, повисло над головами сидевших, отбрасывая на них прохладную зеленую тень.

Сразу стало легче дышать.

— Это хорошо, — сказал Волохов, — но мне нужно на корабль. Чиниться.

— Чиниться? — переспросила Фират, недовольно поморщив лобик. — Говори понятно.

Волохов беспомощно оглянулся по сторонам. Какая-то палочка, наверное, выброшенная морем, валялась на песке. Волохов подобрал ее.

— Мой корабль, — повторил он, разравнивая песок и рисуя на нем вполне правдоподобные контуры звездолета, — он сломался.

Он поднял палочку до уровня глаз и демонстративно разломил ее надвое. Фират испуганно посмотрела на сломанную палочку в руках Волохова, потом быстро обернулась туда, где над песчаными дюнами подымался титанировый корпус корабля.

— О, — сказала она, — он сломался, он...

Она выхватила из рук Волохова обломок ветки и начала быстро дорисовывать вокруг контура корабля пунктирные расходящиеся линии. Казалось, нарисованный корабль встряхнулся, словно утка, и во все стороны разлетелись сотни маленьких песчаных брызг.

— Радиация? — догадался Волохов. — Нет. Не бойся. Радиации нет. Не тот принцип действия. А может, ты боишься не радиации, а чего-нибудь другого?

Фират внимательно слушала его, сдвинув густые детские брови, потом уверенно и спокойно подтвердила:

— Боюсь.

Она поднялась на ноги и гортанно, протяжно крикнула, как кричат люди, которые хотят, чтобы зов их разнесся как можно дальше и шире, потому что тот, кого они зовут, может находиться и там, и там, и там. И тот, кого она звала, поднялся из-за крайней прибрежной дюны и размашистой рысью двинулся прямо на них. Волохов вскочил и невольным движением заслонил собой девочку.

Это был белый медведь, округлой длинноухой мордой напоминавший собаку, или скорее огромный ньюфаунд-

ленд, белоснежной шерстью смахивающий на полярного медведя. Во всяком случае, кто бы это ни был, узкий, раздвоенный на конце язык и тройной, как у акулы, ряд зубов отнюдь не делали его добродушным.

Зверь остановился прямо перед Волоховым, все еще самоотверженно заслонявшим собой Фират, потом наклонил мохнатую голову набок и рассмеялся. Это был искренний, беззлобный человеческий смех, и золотые черти плясали в смеющихся глазах зверя, и раздвоенный язык, вобравшийся в пасть, нежно и беспомощно трепетал за тройным рядом страшных зубов.

— Фу ты, черт, — сказал Волохов и тоже засмеялся. Он чувствовал себя дураком, хотя ничего глупого или хотя бы нелогично не сделал.

Фират вылезла из-за его широкой спины и что-то сердито проговорила. Волохов не понимал ее языка, но все это звучало так, словно она хотела сказать: ничего смешного нет, и надо делать дело, а не развлекаться.

Она сказала еще что-то и коротким жестом указала на корабль. Зверь посмотрел по направлению ее руки, потом перевел взгляд на Волохова, разинул пасть и отчетливо, членораздельно произнес несколько слов. Потом сорвался с места и огромными скачками помчался к кораблю. В каждом своем прыжке он распластывался в воздухе, и только тогда было видно, каким легким и поджарым было его тело, скрытое невероятно длинной и пушистой шерстью.

Зверь скрылся за дюнами.

— Вот так плюшевая игрушка, — сказал Волохов. — Он умеет говорить?

— Конечно, — несколько удивленно ответила Фират.

— Каким образом? — не унимался Волохов.

Фират пожала плечами.

— Я говорю, ты говоришь, он говорит.

Было ли это ответом? Зверь вернулся. Он ничего не сказал, только кивнул, словно давая понять, что идти к кораблю можно.

Фират взяла Волохова за руку, и они двинулись к звездолету. Зверь, размеренно, как верблюд, покачивая головой, пошел рядом с Фират. Некоторое время она шла, положив руку на его мохнатую голову, но скоро ей это надоело, и она легко вспрыгнула на спину зверя. Тот шагал как ни в чем не бывало.

— Отец, — сказала Фират, и тут же Волохов увидел людей, выходящих ему навстречу из-за блестящей туши корабля. Тот, что шел впереди, ускорил шаги и подошел к Волохову. Они встретились у самых ступеней трапа.

Человек этот, смуглый и чернобровый, был похож на Фират в той же степени, как и все остальные его спутники, такие же смуглые и схожие между собой, словно пингины — для людей и, наверное, люди — для пингинов.

Человек, подошедший первым, держал в руках гибкую желтую ветвь с едва заметными листочками. Наверное, это и было то самое растение, что покрывало огромный город, раскинувшийся на весь материк. И, между прочим, росло оно не меньше чем в двухстах километрах отсюда. Человек кивнул Фират, и она низко наклонила голову. Потом он потрепал по голове белого зверя и точно таким же жестом дотронулся до плеча Волохова. По-видимому, лишние слова вроде приветствий были здесь не приняты, поэтому Волохов наклонил голову, как это сделала Фират, и предоставил хозяевам первыми задавать вопросы.

Но вновь пришедшие вопросов не задавали. Они подходили по очереди, касались плеча Волохова и только дружески, необыкновенно широко улыбались. Волохов искал глазами того, что пришел первым и которого Фират назвала отцом, и вдруг увидел, что тот уже поднимается по свисавшей лесенке на корабль. Он шагнул вперед, намереваясь последовать за ним, но почувствовал, что цепкие пальцы Фират крепко обхватили его запястье. Он резко обернулся.

— Не надо, — сказала девочка. — Ты не надо. Они не понимают ты.

— Миленькое дело, — Волохов пожал плечами. — Что же тогда они вообще поймут?

— Они поймут твой корабль. Язык корабля поймут все.

— Но ты же понимаешь меня!

— Они нет времени понимать ты.

— Понимать тебя, — поправил Волохов.

— Понимать тебя, — послушно повторила она. — У меня было время понимать и...

Она беспомощно оглянулась, словно то, что она пыталась сказать, было где-то здесь, под рукой, нужно было только это найти. Но она не нашла и досадливо сморщилась.

Волохов не понял, что она хотела сказать.

— Ладно, — сказал он, — вернемся к кораблю. Ты думаешь, что они поймут, что к чему, и починят?

Фират досадливо поморщилась, словно хотела сказать: ну что повторять одно и то же? Раз сказано — починят, значит, сиди и жди.

Фират подозвала своего зверя, и тот, бесшумно приблизившись, растянулся у самых ее ног. Фират улеглась на песок, откинув голову на белую спину зверя. Ей, наверное, было очень удобно. На Волохова она не смотрела и больше не заговаривала с ним, словно разом забыв о его существовании. Он решил подождать, во что же все это выльется, и, отойдя в короткую зеленоватую тень, отбрасываемую кораблем, принялся вышагивать по песку взад и вперед, насколько позволяли границы этой тени. Так прошло около получаса.

Вдруг нижние ступени лестницы закачались, и Волохов, глянув вверх, увидел, что добровольные его помощники быстро спускаются вниз. Волохов торопливо направился к Фират, — надо же как-то остановить их, попросить обождать, а он слезает за таблицами, книгами, они установят контакт, обменяются... чем там по-

ложено обмениваться по теории контакта с гуманоидами. Фират поможет.

Но они его опередили, старший — отец, по-видимому, хотя Волохов так и не научился отличать его от остальных, — сказал Фират несколько отрывистых, повелительных фраз. Девочка выслушала его, сложив руки и низко опустив голову. Потом все они по очереди подошли к Волохову и с дружескими, несколько плакатыными улыбками снова потрепали его по плечу. Сначала его, потом белого зверя Фират. И друг за другом исчезли за изумрудной песчаной дюной.

— Все, — сказала Фират, — ты можешь лететь. Корабль не был сломан. Он просто... не слушался. Это прошло. Улетай.

В голосе ее не было ни грусти, ни горечи, она повернулась и тихо пошла к морю.

Он знал, он чувствовал, что его не обманули, что корабль исправлен и он может сейчас же, сию минуту лететь домой, к Земле, — и не мог этого сделать. Белая фигурка медленно брела к морю, и что-то было не так, чего-то он не понял, не доделал, и, сам не зная, зачем, он крикнул: «Фират, погоди!» — и побежал к ней.

Он догнал ее у самой воды. На его крик она не обернулась.

— Погоди, Фират, — сказал он, переводя дыхание. — Так же нельзя, в самом деле. Ведь я сейчас улечу, и мы можем никогда больше не встретиться.

Она спокойно смотрела на него. Ну да, он улетит, они действительно никогда больше не встретятся, но ее это не тревожило. Что ей-то до этого?

— Погоди, Фират. Ведь ты даже не спросила, откуда я. Может быть, твой отец или те, что были с ним, когда-нибудь захотят прилететь к нам, на Землю... на ту планету, откуда я родом? Ведь вы можете это?

Фират медленно покачала головой.

— Они все очень заняты. Там. — Она махнула рукой в сторону материка, где раскинулся желтый го-

род. — И там. — Она вытянула руку вверх, указывая прямо в небо.

В первый раз в ее ровном голосе он почувствовал едва уловимый оттенок горечи — они все очень заняты.

— А может быть, ты, когда подрастешь?..

Она снова покачала головой.

— Твоя планета нам не нужна. Ведь вы даже не умеете... — она не знала необходимого слова. Она пощелкала пальцами, как делают это люди, припоминая что-нибудь, и вдруг у нее из-под пальцев начали выпархивать огромные, величиной с крупную лилию, мохнатые снежинки. Они таяли, не долетев до песка, а пальцы Фират начали приобретать бронзовый отблеск, и вдруг засверкали нестерпимым блеском настоящего червонного золота, она ударила в ладони — и над песками прокатился оглушительный, стозвучный удар огромного гонга.

И тут же руки девочки стали прежними.

— Вы не умеете так, — тихо, словно извиняясь, проговорила Фират. — Вы не умеете...

— Творить чудеса, — подсказал Волохов. — Этого мы и вправду не умеем. И все же, если вы только можете, прилетайте к нам, на Землю. Чудес у нас нет. Но у нас есть солнце, не такое, как у вас, — бледненькое, словно мелкая серебряная монетка, — нет, наше солнце золотое, как твои ладони пять минут назад, как цветок одуванчика — вот какое. — И он рисовал на влажном и плотном песке, какой это цветок, и в узких бороздах рисунка тотчас набиралась вода. — Оно желтое, рыжее, нестерпимое...

Они тихо шли по узенькой полоске омываемого водой песка, и Волохов все говорил, и нагибался, и рисовал что-то, и они тут же переступали через этот рисунок и шли дальше, и он снова говорил о Земле, о ее морях, умеющих быть любимыми — от пурпурных до молочно-белых, о лиловых вершинах гор, о зеленых лунных ночах над стоячей водой уснувших рек, о тонкой яблоч-

ной прозрачности предутреннего неба, о чеканной бронзовой дорожке, по которой можно добежать до самого солнца, если оно не успеет спрятаться за море; он рисовал на песке маленьких, не больше суслика, кенгуру и огромных, величиной с утку, божьих коровок. В стройную шеренгу знаков зодиака вклинились колдовские пентаграммы морских звезд и курчавые пеньки актиний, а у самой-самой воды, прикрыв морду хвостом, свернулся калачиком абстрактный кот — так, во всяком случае, закончилась попытка Волохова изобразить всю нашу галактику. Крошечная точка, обозначавшая Землю, приютилась с краешку, где-то на хребте условного кота.

— Волохов, — сказала вдруг девочка, останавливаясь. Она в первый раз обращалась непосредственно к нему. — Не надо. Улетай.

Да, конечно, ведь так можно говорить, и говорить, и говорить, но он ничего не изменит, Фират никогда больше не встретится ему на пути. Земля не нужна им, она сказала. Но то, что он так долго говорил ей о Земле, вернуло его к прежней уверенности в себе, и теперь, когда ему оставалось только повернуться и идти к кораблю, вдруг стали неважны все эти ее чудеса, разрезанный скафандр, золотые ладошки и все такое, она была просто босоногой девчонкой Фират, которую он оставит здесь, у моря, на краю неведомой земли, чтобы никогда больше не увидеть; Волохов наклонился над нею, и она поступила так же, как это сделала бы на ее месте любая девушка на Земле — закрыла глаза.

Губы у нее были шершавые и очень сухие. Такие шершавые и такие сухие, что потом захотелось потрогать их пальцами, проверить, точно ли они могли быть такими. Но он только провел рукой по ее спутанным волосам, отделил тонкую длинную прядку и захлестнул ее вокруг смуглой шеи. Глаза она так и не открывала.

Волохов отступил на шаг, повернулся и пошел к кораблю. За его спиной, не шевелясь, опустив руки и не открывая глаз, стояла Фират.

Солнце стало голубовато-серым и, не дойдя до горизонта, начало медленно растворяться в пепельном мареве, подымавшемся навстречу ему с поверхности остывающего к вечеру океана. Песок под ногами стал совсем темным. Фират сделала еще несколько шагов и остановилась. Нет, не может так быть, не должно так быть, просто невероятно, чтобы она этого не нашла...

Она опустилась на колени и принялась шарить рукой по влажному песку. Волны бесшумно подкрадывались и касались ее пальцев. Шаги она слышала, только когда они были уже совсем рядом. Тогда она подняла голову и увидела отца.

— Почему ты не вернулась в город? — спросил он.

Она только покачала головой. Острые крупные песчинки больно врезались в колени.

— Этот, — отец указал на дюны, где днем возвышался матовый конус корабля, — этот улетел?

Фират только наклонила голову.

— Так что же?

Фират медленно встала.

— Зачем ты отпустил его, отец? — спросила она. — Как мог ты просто так отпустить его? Как ты, мудрый и опытный, ты, знающий все, не понял, что это был такой же человек, как ты и я? Мне легко было ошибиться, я так мало еще знаю. Я приняла его за разумного зверя, такого же, как все мои говорящие звери, да и сам он сказал, что не умеет... Он назвал это — творить чудеса. Он сам сказал мне, что не умеет творить чудеса..

Фират заплакала.

— А потом он говорил мне о той планете, с которой он прилетел, но я не помню, совсем не помню, о чем же он говорил. Я все понимала тогда, но сейчас не помню ни единого слова. Когда я впервые увидела его, я обратилась к нему на языках десяти звезд, ни одного из них он не знал. Его корабль перестал повиноваться ему, и я подумала, что он просто не умеет заставить его

слушаться. Я думала, что он ничего не может, а он просто ничего не хотел...

— Что же он может? — спросил осторожно отец. Фират еще ниже опустила голову.

— А когда пришло время ему улетать, он наклонился надо мной, положил мне руки на плечи, и тогда солнце, наше маленькое белое солнце стало вдруг огромным и совсем золотым, словно собрало в себе все золото звезд, оно было таким жарким и нестерпимым, что зеленый песок пустыни стал тоже золотым, как цветы когорейни, покрывающие наши города, а далеко-далеко, по самому горизонту, поднялись невиданной высоты лиловые горы, легкие, как облака, с алыми сияющими вершинами. Золото не нашего солнца затопило пустыню, но бывшая зелень ее песков не исчезла, а собралась в одну огромную, неуловимо текущую реку, бесшумно впадающую в океан: зеленое светило, которого не было на небе, отражалось в этой реке. И не было в мире, во всем этом огромном мире ничего, что бы осталось прежним, отец!

— Что же было потом? — спросил он.

— Потом это солнце погасло, и наступила ночь...

Было уже совсем темно, и невидимые волны подбирались к ногам Фират. Начался прилив.

— Летим домой, — неожиданно мягко проговорил отец. — Летим.

— Нет, — сказала Фират. — Где-то здесь, на песке, он нарисовал мне, как найти его звезду. На песке, у самой воды.

Она протянула руку, и на ее ладонке вспыхнул неяркий зеленоватый светлячок. Она подула на него, чтобы ярче горел, и, подняв над головой свое маленькое чудо, пошла дальше по влажной дорожке гладкого песка, вылизанного приливом.

СОДЕРЖАНИЕ

Сотворение миров	5
Дотянуть до океана	30
Вернись за своим Стором	51
Соната ужа	74
Планета, которая ничего не может дать	106
Где королевская охота	143
Подсадная утка	178
У моря, где край земли	203

ИБ № 3350

Ольга Николаевна Ларионова

ЗНАКИ ЗОДИАКА

Рецензент М. Шаламов

Редактор В. Щербаков

Художник С. Ашуров

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Р. Сиголаева

Корректоры Н. Самойлова, А. Долидзе

Сдано в набор 13.05.83. Подписано в печать 12.09.83. А00197.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд.
л. 10,4. Тираж 100 000 экз. Цена 70 коп. Заказ 766.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцневская ул., 21.

70 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

